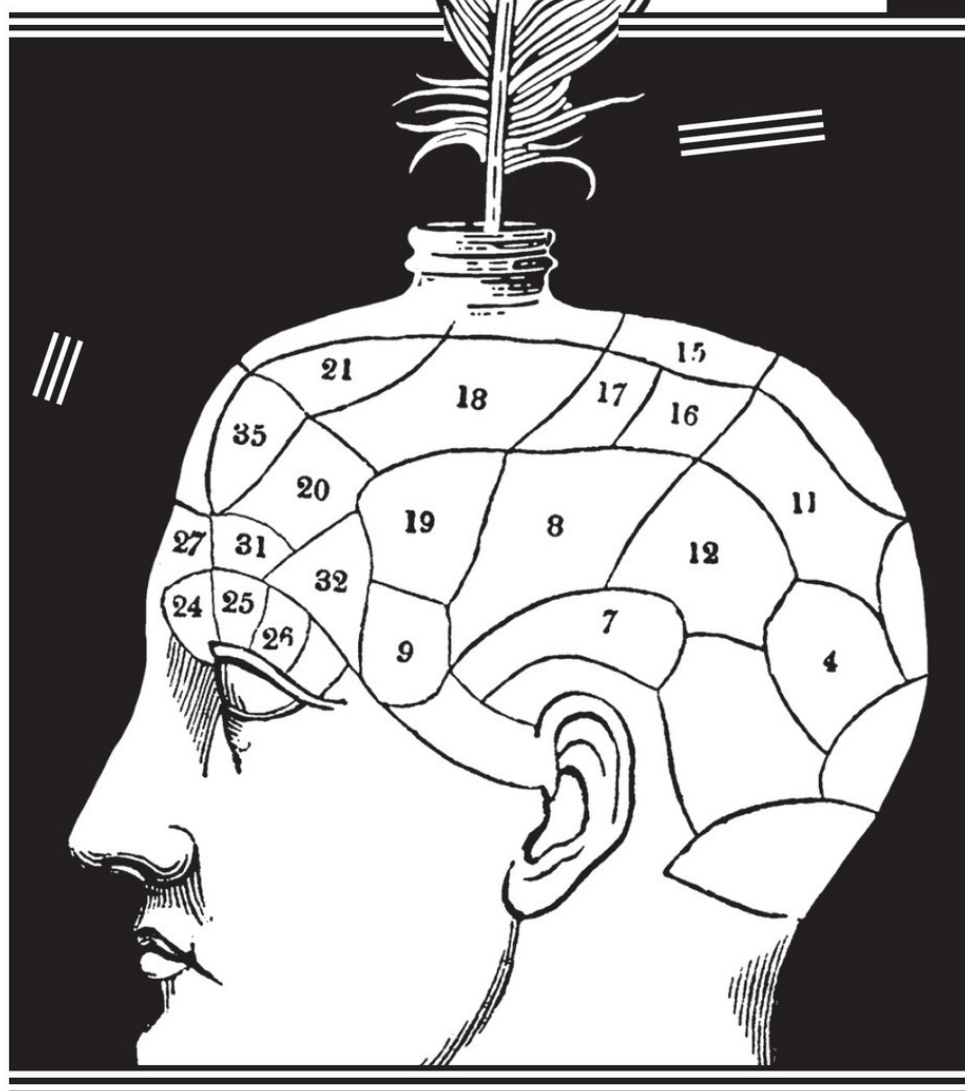


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Риккардо
Николози



ВЫРОЖДЕНИЕ

Литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века

Научная библиотека

Риккардо Николози

Вырождение

«НЛО»

2019

УДК 821.161.1.9
ББК 83.3(-411.2)52

Николози Р.

Вырождение / Р. Николози — «НЛО», 2019 — (Научная библиотека)

Книга предлагает новый, неожиданный взгляд на русскую эпоху *fin de siècle* в контексте ее многочисленных связей с общеевропейским дискурсом вырождения. Если до сих пор литературоведы ограничивались указанием на параллели между критикой культуры с биомедицинских позиций, с одной стороны, и русской декадентской и символистской литературой – с другой, то Николози рисует широкую панораму антимодернистского по своей сути дискурса о вырождении, сложившегося в результате тесного взаимодействия литературы и психиатрии. В книге рассмотрены разнообразные превращения нарратива о дегенеративном упадке: поэтика натурализма и судебно-психиатрические исследования, литература о жизни преступного мира и криминальная антропология, литературный дарвинизм и евгеника. При этом консервативной в политическом отношении психиатрии и литературе позднего реализма и натурализма отводятся равно важные роли в формировании, изменении и критической проверке различных нарративов о вырождении. Такая перспектива позволяет выявить неочевидные сближения в творчестве как полузабытых, так и прочно вошедших в литературный канон русских писателей: Д. Н. Мамина-Сибиряка и Ф. М. Достоевского, П. Д. Боборыкина и М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. А. Гиляровского и Л. Н. Толстого, А. И. Свирского и А. П. Чехова.

УДК 821.161.1.9
ББК 83.3(-411.2)52

© Николози Р., 2019

© НЛО, 2019

Содержание

I. Введение	7
II. Литературное начало. Роман о вырождении и натурализм	15
II.1. Неуловимое вырождение и всеильный нарратив. Теория вырождения во французской психиатрии (Морель, Маньян)	18
II.2. Эпическая линейность, разрыв наррации и литературный модернизм. Роман о вырождении	31
II.3. «On ne lit que vous en Russie». Успех Золя в России	42
II.4. Вырождение как нарративный застой. «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Риккардо Николози
Вырождение
*Литература и психиатрия в
русской культуре конца XIX века*

© Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2017

© Н. Ставрогина, перевод с немецкого языка, 2019

© ООО «Новое литературное обозрение», 2019

* * *

I. Введение

В 1898 году, в разгар царившего в западноевропейских странах эпохи *fin de siècle* увлечения русским реализмом¹, один из ведущих представителей итальянского натурализма (веризма) Луиджи Капуана писал о персонажах русского романа:

В русском романе нам встречаются души сумрачные, терзаемые тоской по идеалу; грубые и мощные характеры, с одинаковой страстью творящие добро и зло; неукротимые волевые натуры; сердца, исполненные странной жажды страданий. При ближайшем рассмотрении кажется, что эти персонажи пребывают в состоянии ненормальном; нечто в их мозгу либо повреждено, либо функционирует неправильно. Все они, или почти все, являют собой экзальтированных невротиков, людей, которых следует поручить заботам Шарко или Ломброзо².

Поставленный Капуаной психопатологический диагноз созвучен представлению современников о русском романе как о выражении «непостоянной русской души» (*l'âme flottante des Russes*)³, якобы заметно склонной к нервным заболеваниям⁴. Однако Капуана идет еще дальше, приравнявая персонажей русского романа к пациентам тогдашней психиатрии, представленной двумя наиболее знаменитыми именами: «изобретателя» истерии Жан-Мартена Шарко и основоположника криминальной антропологии Чезаре Ломброзо. Таким образом, слова Капуаны указывают на тесную взаимосвязь психиатрии и литературы, характерную для европейских культур XIX столетия⁵.

Из литературных произведений – например, из драм Шекспира – психиатрия, в качестве самостоятельной дисциплины сформировавшаяся лишь на рубеже XIX–XX веков, черпает знание о психических процессах, приписывая ему не меньшую эпистемологическую ценность, нежели результатам клинических наблюдений; стремясь выработать собственный стиль изложения, прежде всего при описании частных случаев, психиатры ориентируются на заимствованные из художественной литературы повествовательные и риторические приемы. Кроме

¹ Относительно Франции и Испании см.: Ruhe C. «Invasion aus dem Osten». Die Aneignung russischer Literatur in Frankreich und Spanien (1880–1910). Frankfurt a. M., 2012. Ссылки на первоисточники, научную литературу и цитируемые тексты при первом упоминании содержат полное библиографическое описание, при повторном – краткое (фамилия автора, сокращенное заглавие, номера страниц). Для облегчения поиска библиографической информации полное описание приводится заново в каждой главе; кроме того, все выходные данные собраны в списке использованной литературы.

² «[Nel] romanzo russo <...> vi troviamo anime cupe, tormentate da bisogni ideali; caratteri rozzi e potenti, che operano con egual forza il bene e il male; volontà indomite, cuori assetati da una strana sentimentalità di soffrire. Esaminati attentamente, tutti questi personaggi non ci sembrano in uno stato normale; qualcosa si è rotto nel loro cervello o non funziona bene. Sono tutti, o quasi tutti, nevrotici esaltati, gente da consegnarsi nelle mani dello Charcot e del Lombroso» (Capuana L. Gli «ismi» contemporanei [1898]. Milano, 1973. P. 56–57). (Если не указано иное, перевод оригинальных цитат здесь и далее сделан с выполненных автором книги рабочих переводов на немецкий язык. – Прим. пер.)

³ Vogüé E. M. *Comte de. Le Roman Russe* [1886]. 3ème éd. Paris, 1892. P. XLIV. При цитировании переизданий литературы исследуемого периода год первой публикации указывается здесь и далее в квадратных скобках.

⁴ Ср., в частности, у Фридриха Ницше: «Удивительная компания <...> в общем-то вся без исключений из русского романа: все мыслимые нервные заболевания являются к ним на свидание...» (Ницше Ф. Мнимая молодость // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 13: Черновики и наброски 1887–1889 гг. / Пер. с нем. В. М. Бакусева и А. В. Гараджи. М., 2006. С. 166–167. С. 167).

⁵ См., в частности: Thomé H. *Autonomes Ich und «inneres Ausland»*. Studien über Realismus, Tiefenpsychologie und Psychiatrie in deutschen Erzähltexten (1848–1914). Tübingen, 1993; Micale M. S. *Approaching Hysteria: Disease and Its Interpretations*. Princeton, 1995; Wübben Y. *Verrückte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts*. Konstanz, 2012; Wübben Y. *Psychiatrie // Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch* / Hg. von R. Borgards. Stuttgart; Weimar, 2013. S. 125–130; Pethes N. *Literarische Fallgeschichten. Zur Poetik einer epistemologischen Schreibweise*. Konstanz, 2016. В русском контексте вопрос рассматривается в: Сироткина И. Е. *Классики и психиатры: психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX века* / Пер. с англ. автора. М., 2008.

того, в литературных текстах усматривают симптомы душевных и нервных недугов авторов (в частности, в рамках жанра патографии), а также проявления общего культурного упадка, как это делает Макс Нордау в книге «Вырождение» («Entartung», 1892–1893). Литература XIX века, в свою очередь, осваивает накопленные современной психиатрией знания, функционализируя, трансформируя, пародируя и карнавализируя их в художественно переосмысленном виде; одновременно складываются стратегии литературного письма, опирающиеся на принятые в психиатрии формы изложения, в частности на жанр истории болезни.

Важнейшая роль в этом широком поле взаимодействия литературы и психиатрии конца XIX столетия принадлежит понятию вырождения, или дегенерации⁶. В биологической психиатрии, рассматривающей душевные заболевания как наследственные патологии мозга и нервной системы, теория вырождения становится преобладающей (гл. II.1)⁷. В литературе, прежде всего в натурализме, концепция вырождения – как мотив, структурная модель индивидуальных и коллективных патологий, а также как принцип сюжетосложения – выступает одной из самых распространенных составляющих (био)социального романа (гл. II.2). Такое взаимодействие литературы и психиатрии во многом способствует формированию дискурса о вырождении, служащего европейской культуре *fin de siècle* инструментом концептуализации «изнанки прогресса», т. е. всей совокупности свойственных модерну девиаций и аномалий. На рубеже веков модель объяснения мира с позиций культурного пессимизма приобретает всеобъемлющий характер. Ее действенность зиждется на ее дискурсивной пластичности и семантической размытости, допускающих свободное и чрезвычайно гибкое «медикализирующее» осмысление социальной жизни в категориях здоровья и патологии, нормы и отклонения. Это позволяет установить связь между дискурсом о вырождении и другими биомедицинскими дисциплинами и дискурсами эпохи, в частности криминальной антропологией (гл. VI) и дарвинизмом (гл. VII), расширяя тем самым его эпистемологические границы⁸.

Изменчивая, «протеическая» природа дискурса о вырождении создает определенные трудности в исследовании взаимосвязи литературы и науки. Ограничиться констатацией наличия элементов психиатрической теории в литературных текстах эпохи – значит попасть в замкнутый круг, подтверждающий универсальность дискурса о вырождении. Можно, конечно, продолжить приведенное выше суждение Капуаны и заняться выявлением присущих персонажам русской литературы психопатологических черт, подразумевающих простое воспроизведение объектного языка теории вырождения, – однако такой подход страдал бы обманчивой самоочевидностью. С учетом принятого в тогдашней психиатрии широкого понимания душевных и нравственных расстройств оценка русских литературных героев как «вырожденцев», пусть нередко и оправданная, в конечном счете представляется произвольной и лишенной аналитической строгости. Недаром российская психиатрия того времени использовала этот подход с целью «продемонстрировать» обоснованность теории вырождения на примерах из художественной литературы и легитимировать собственные методы (гл. IV.2 и VI.2).

Специфика взаимовлияния литературы и психиатрии в исследуемом контексте состоит в совместном создании дискурсивных структур, главная роль в которых принадлежит narra-

⁶ В настоящем исследовании, как и в немецкой медицинской терминологии XIX века, понятия «дегенерация» (*Degeneration*) и «вырождение» (*Entartung*) употребляются в качестве синонимов.

⁷ Чтобы читателю было легче ориентироваться, перекрестные ссылки даются в круглых скобках с указанием соответствующей главы и параграфа.

⁸ См., в частности: Nye R. A. *Crime, Madness, and Politics in Modern France: The Medical Concept of National Decline*. Princeton, 1984; *Degeneration: The Dark Side of Progress* / Ed. by J. E. Chamberlin, S. L. Gilman. New York, 1985; Pick D. *Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918*. Cambridge, 1989; Roelcke V. *Krankheit und Kulturkritik. Psychiatrische Gesellschaftsdeutungen im bürgerlichen Zeitalter (1790–1914)*. Frankfurt a. M.; New York, 1999; Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году / Пер. с фр. А. В. Шестакова. СПб., 2004. На русском материале тема рассматривается в: Beer D. *Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity*. Ithaca; London, 2008.

тивности⁹. Психиатрическая теория вырождения не предоставляет референциального знания, впоследствии конвертируемого литературой в нарративные структуры. Источником знания выступает сам нарративный потенциал концепции вырождения, так как лишь повествовательная модель наследования нервно-душевных заболеваний, передающихся из поколения в поколение одной семьи и принимающих все более тяжелые и разнообразные формы, позволяет добиться эпистемологической убедительности, которой теория в противном случае не обладала бы ввиду отсутствия эмпирических доказательств (гл. II.1).

Дегенерация – это в первую очередь нарратив: *masterplot*, базовая повествовательная схема, которая придает разрозненным патологическим явлениям сегментированный линейный характер и обеспечивает повествовательную связность, позволяющую обуздать хаотическую «агрессию» ненормальности¹⁰. Вместе с тем нарратив о вырождении обладает необходимой семантической свободой и гибкостью, позволяющими охватывать всевозможные девиантные формы социального поведения – в частности, преступность и проституцию, – тем самым превращая их в элементы обширного биомедицинского повествования.

Впрочем, постулировать общую нарративную базовую структуру дегенерации – не значит утверждать, что психиатрия и литература конца XIX столетия излагают истории вырождения при помощи одинаковых повествовательных стратегий. Хотя в психиатрическом письме о вырождении ярко выражено повествовательное начало, психиатрия придерживается собственной эпистемологической логики, отличной от эстетического своеобразия литературы. Поэтому в главах II и III рассматриваются черты не только и не столько сходства, сколько различия между художественным и медицинским повествованиями о вырождении. Сначала, в главе II.1, я покажу, каким образом возникшая во французской психиатрии конца 1850-х годов теория вырождения достигает эпистемологической убедительности единственно путем применения к частным случаям: лишь сама повествовательная схема позволяет выявить связность и смысл в «хаосе» культурных девиаций и первобытных инстинктов. В историях болезней, написанных основоположником теории вырождения Бенедиктом Огюстеном Морелем¹¹ и Валантеном Маньяном, имеющий неизменные структурные сегменты и топосы нарратив повторяется в бесконечных вариациях, превращая повествовательную схему в модель интерпретации; в результате неограниченная референциальность сводится к одинаковой смысловой линии.

Первое художественное воплощение нарратив о дегенерации получил в литературе французского натурализма: традиция «романа о вырождении» берет начало в двадцатитомной семейной эпопее Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («*Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire*», 1871–1893). В главе II.2 рассмотрено возникновение нарративной грамматики романа о вырождении в результате взаимодействия базовой схемы дегенерации и повествовательной системы натурализма. Аналептическое и антагонистическое повествование; эпическая линейность рассказа и фрагментарность описаний; отказ от категории события и трансгрессивные сюжетные повороты – вот координаты, в которых Золя строит художествен-

⁹ Föcking M. *Pathologia litteralis. Erzählte Wissenschaft und wissenschaftliches Erzählen im französischen 19. Jahrhundert*. Tübingen, 2002. S. 281–345; Pross C. *Dekadenz. Studien zu einer großen Erzählung der frühen Moderne*. Göttingen 2013.

¹⁰ В контексте настоящего исследования понятия «дискурс», «теория» и «нарратив» имеют разный смысл. Термин «дискурс о вырождении» (*Degenerationsdiskurs*) означает понимаемую в самом широком смысле систему суждений о вырождении, сложившуюся в европейской культуре конца XIX века под влиянием разных сфер знания, прежде всего психиатрии и литературы, а также разных письменных жанров. Под «теорией вырождения» (*Degenerationstheorie*) понимается научная теория, распространившаяся в европейской психиатрии второй половины XIX – начала XX века и ставшая одним из главных двигателей различных дискурсивных практик, затрагивающих идею вырождения. Под «нарративом о вырождении» (*Degenerationsnarrativ*) подразумевается повествовательная базовая схема, составляющая основной способ производства знания о вырождении вообще, т. е. среди прочего и в рамках самой научной теории.

¹¹ Morel B. A. *Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés malades*. Paris, 1857 [Reprint New York, 1976].

ную повествовательную модель вырождения, впоследствии воспринятую и переосмысленную в европейских литературах 1880–1910-х годов.

Отправной точкой дискурса о дегенерации в русской культуре становится – таков один из главных тезисов настоящей книги – освоение и видоизменение созданного Золя романа о вырождении на рубеже 1870–1880-х годов, еще до того, как российская психиатрия, институциональное становление которой приходится лишь на конец 1880-х годов, начнет пропагандировать теорию вырождения и разрабатывать соответствующий тип письма. Реконструкция начального этапа русской рецепции Золя в 1870-х годах – интенсивного, однако сегодня почти забытого (гл. II.3) – позволяет очертить историко-литературный контекст появления первого русского романа о вырождении – «Господ Головлевых» (1875–1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина. Творчески перерабатывая опыт Золя, а также русской литературной традиции семейной хроники (С. Т. Аксаков, Н. С. Лесков), Салтыков-Щедрин рассказывает историю психофизической, нравственной и материальной деградации одной помещичьей семьи после отмены крепостного права. В результате возникает одно из самых мрачных и последовательных художественных воплощений концепции вырождения: развитие дегенеративного процесса, ведущего к угасанию рода Головлевых, состоит из навязчивого повторения похожих эпизодов, все более бедных событиями и под конец буквально разрывающих ткань повествования. Таким образом, на перформативном уровне текст «вырождается» точно так же, как и описываемое семейство.

Внутренняя диегетическая логика натуралистического романа о вырождении формируется среди прочего в разработанной Золя поэтике «экспериментального романа» (*le roman expérimental*). Рассказывая о вырождении семьи Ругон-Маккаров, охватывающем несколько поколений, Золя стремится к фиктивной «верификации» биологических законов, которые, согласно теоретическим воззрениям позитивистской науки XIX века, определяют глубинную структуру жизни. Проблематичная в эпистемологическом отношении аналогизация литературы и эксперимента, осуществляемая Золя, рассматривается в этой книге с точки зрения своих нарративных импликаций: как образцовая повествовательная форма, призванная сообщить наглядную убедительность исходной гипотезе о биологических основах действительности, главными из которых являются наследственность и дегенерация.

В конце 1870-х – начале 1880-х годов этот «экспериментальный» аспект романа о вырождении воспринимают русские писатели, переосмысляющие его таким образом, что провозглашенная натурализмом возможность излагать научные теории в повествовании оказывается поставлена под сомнение. В главах III.2 и III.3 последний роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880) и роман «Приваловские миллионы» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка, одного из ведущих представителей русского натурализма, интерпретируются как направленные против созданного Золя цикла о вырождении литературные «контрэксперименты», в основу которых положена контрфактуальная структура аргументации по принципу *reductio ad absurdum*. Несмотря на ряд очевидных эстетических и поэтологических различий между романом Достоевского и Мамина-Сибиряка, оба текста сходным образом инсценируют натуралистический художественный мир, на первый взгляд подчиненный детерминистским силам наследственности и вырождения. Однако оба романа вступают в противоречие с этой натуралистической моделью мира на нескольких уровнях, а впоследствии опровергают ее как ложную эпистемологическую посылку. Эта специфически русская разновидность романа о вырождении интерпретируется как дальнейшее развитие повествовательной техники, свойственной русской тенденциозной литературе 1860–1870-х годов, т. е. традиции нигилистического и антинигилистического романа (гл. III.1).

Становление российской психиатрии в конце 1880-х годов ознаменовало конец этой первой, внутрилитературной фазы развития дискурса о дегенерации. Сначала, в главе IV.1, прослеживается значение теории вырождения для первых российских психиатров, которые использовали ее не только для медицинской, но и для социальной диагностики, не в последнюю

очередь с целью легитимировать психиатрию в качестве научной дисциплины. Часть психиатров, прежде всего возглавляемая П. И. Ковалевским харьковская школа, применяет к русской действительности заимствованный из франко-немецкого биомедицинского дискурса диагноз «нервный век» (Рихард фон Крафт-Эбинг), присоединяясь тем самым к антимодернистскому политическому дискурсу эпохи Александра III и пытаясь обосновать его с медицинской точки зрения. Неврастения и другие нервные заболевания рассматриваются как симптомы общего вырождения русского народа, причем отправной точкой этого процесса провозглашаются «Великие реформы» 1860-х годов. Понимают психиатры и необходимость облекать концепцию вырождения в повествовательную форму для достижения эпистемологической убедительности; с этой целью они не только сами пишут истории болезней, но и читают и интерпретируют художественные произведения, например романы Достоевского, как истории вырождения (гл. IV.2). Таким образом, русская психиатрия тесно взаимодействует с натуралистической литературой своего времени, такие представители которой, как И. И. Ясинский и П. Д. Боборыкин (гл. IV.3), продолжают развивать русскую традицию романа о вырождении в русле раннемодернистского литературного «искусства нервов». В творчестве обоих писателей нервные заболевания персонажей предстают составляющей подчеркнуто детерминистского нарратива: инсценировка безуспешных попыток героев вырваться из дегенеративного процесса, частью которого они являются изначально, «по рождению», акцентирует замкнутость базовой нарративной схемы.

На этом этапе становится окончательно очевидным, что сосредоточенность на повествовательных структурах (а не только на самом мотиве) вырождения подводит к необходимости пересмотреть каноническую историю русской литературы эпохи *fin de siècle*. Декадентству и раннему символизму, до сих пор считавшимся основными выразителями идеи вырождения в литературе¹², в этом исследовании отводится скорее второстепенная роль (гл. V), так как в данном случае не приходится говорить о *повествовательной* литературе, свидетельствующей о взаимодействии с психиатрией эпохи. Правомочность такого подхода проясняется в рамках сравнительного анализа, который охватывает творчество таких ныне полузабытых представителей натурализма (в узком или широком смысле), как Мамин-Сибиряк, Ясинский и Боборыкин, но также и А. В. Амфитеатров, В. А. Гиляровский, В. М. Дорошевич и А. И. Свирский (гл. IV–VI). Все они выступают героями этой книги наравне с такими классиками русского (позднего) реализма, как М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и А. П. Чехов¹³. Таким образом, на этих страницах натурализм заново обретает ту важность, которой это литературное направление обладало в России конца XIX века, особенно в контексте научного повествования¹⁴.

¹² Matich O. *Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia's Fin de Siècle*. Madison, 2005; Hansen-Löve A. *Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der poetischen Motive*. Bd. 3. Wien, 2014. S. 604–634; White F. H. *Degeneration, Decadence and Disease in the Russian Fin de Siècle: Neurasthenia in the Life and Work of Leonid Andreev*. Manchester, 2014; Russian Writers and the Fin de Siècle: The Twilight of Realism / Ed. by K. Bowers and A. Kokobobo. Cambridge, 2015.

¹³ Это не значит, что в книге игнорируются различия в поэтике разных произведений и авторов. Напротив, при анализе я стараюсь учитывать эти различия, о чем свидетельствуют, в частности, в корне различные интерпретации литературного дарвинизма в творчестве Мамин-Сибиряка и Чехова (гл. VII.2 и 3).

¹⁴ Здесь не место для подробного объяснения причин забвения, постигшего натурализм в истории русской литературы. Достаточно, во-первых, указать на невыгодный для натурализма контраст с имеющим мировое значение русским реализмом, определивший ценностную иерархию, на основании которой уже современная натурализму критика рассматривала его как (патологическое) упадническое литературное явление (см., в частности: Скабичевский А. М. Больные герои большой литературы [1897] // Скабичевский А. М. Сочинения. Т. 2. СПб., 1903. С. 579–598.) Во-вторых, известная уничижительная оценка, данная натурализму Георгом (Дьёрдем) Лукачем как антиидеологическому, буржуазному ложному пути в литературе (Лукач Г. Рассказ или описание / Пер. с нем. Н. В. Волькену // Литературный критик. 1936. № 8), сильно повлияла на советское и постсоветское литературоведение, которое если и говорило о самостоятельном русском натурализме, то либо отрицало факт присутствия биомедицинских дискурсов в натуралистической прозе, либо и вовсе не удостоивало его вниманием. Ср., в частности: Вильчинский В. П. Русская критика 1880-х годов в борьбе с натурализмом // Русская литература. 1974. № 4. С. 78–89; Чупринин С. Фигуранты – среда – реальность (К характеристике русского натурализма) // Вопросы литературы. 1979. № 7. С.

Подобным образом в книге критически пересматривается и каноническая история русской психиатрии, не уделяющая должного внимания важнейшей для 1880–1890-х годов научной деятельности таких теоретиков вырождения, как П. И. Ковалевский и В. Ф. Чиж (гл. IV.1). Между тем именно эти психиатры, националисты и консерваторы, раскрыли в своих судебно-медицинских анализах возможности нарратива о вырождении и достигли высот в диагностике социальных отклонений, толкуемых с биомедицинских позиций как угроза целостности империи. В главах VI и VII подробно рассматривается начавшееся в середине 1880-х годов сближение психиатрической теории вырождения с другими биомедицинскими концепциями эпохи – с криминально-антропологической теорией атавизма и с дарвинистской борьбой за существование, – что позволило ей превратиться в объяснительную модель для всей совокупности социальных «аномальных явлений», не только психических, но и социальных. При этом возникли новые разновидности повествования о вырождении, лишь подчеркивающие интегративный потенциал соответствующей базовой схемы.

Это хорошо видно на примере судебно-психиатрических анализов П. И. Ковалевского и В. Ф. Чижа, принадлежавших к числу убежденных русских приверженцев выдвинутой Чезаре Ломброзо криминально-антропологической теории прирожденного преступника. Восприняв идею атавистической природы этого преступного человеческого типа, концептуализированной Ломброзо как антропологический регресс к первобытному состоянию, Ковалевский и Чиж стали применять ее в своей судебно-медицинской практике, интерпретируя преступления как психиатрические случаи дегенерации. При этом оба мастерски сочетают аналогическую повествовательную структуру с каузальной, заставляя разглядеть в дегенеративной личности жуткие черты атавистического «зверя» (гл. VI.1). Такое представление о чудовищной натуре преступника остается, напротив, чуждо русским писателям, которые вплоть до рубежа веков продолжают создавать тяготеющие к сентиментальности истории, проникнутые сочувственным отношением к преступнику как человеку «несчастному». Это не мешает Ковалевскому и Чижу в собственных «литературно-критических» трудах интерпретировать произведения Достоевского и Чехова о жизни преступников и каторжан как однородное, последовательное изображение прирожденных преступников – опять-таки с целью подкрепить свои научные позиции авторитетом художественной литературы.

Глава VI.2 посвящена сложному отношению русской литературы 1880–1890-х годов к криминально-антропологическим нарративам о вырождении. С одной стороны, такие художественные и документальные тексты, как «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Воскресение» (1899) Л. Н. Толстого, а также посвященные жизни преступников произведения А. И. Свирского и В. М. Дорошевича, обращаются к идеям криминальной антропологии и психиатрии лишь с тем, чтобы опровергнуть их путем иронии, карнавализации или аргументированного опровержения. С другой стороны, описывающие мир трущоб очерки В. А. Гиляровского («Трущобные люди», 1887) и А. И. Свирского («Мир трущобный», 1898) моделируют московское и петербургское «пространство вырождения», в контексте которого преступность выступает одним из проявлений атавистического, враждебного цивилизации регресса, охватившего целые группы населения.

Вследствие слияния с дарвинистским дискурсом, особенно с центральной для него идеей «борьбы за существование», в дискурсе о вырождении 1890-х годов усиливается тенденция к обобщению дегенеративных проявлений, которая приводит к возникновению расовых теорий и идей евгеники. Глава VII, посвященная этой последней крупной трансформации нарратива о вырождении, открывается анализом риторического аспекта концепции борьбы за существование в эволюционной теории Чарльза Дарвина. Если рассматривать борьбу за существование

как эпистемологическую метафору, в ней обнаруживается полисемия, сознательно допускающая разнообразные и взаимно противоречивые интерпретации. Включая элементы дарвинизма в теорию вырождения, европейская психиатрия перенимает и эту семантическую неоднозначность, сообщаящую «дарвинизированной» концепции вырождения двойкий смысл. С одной стороны, борьба за существование понимается как фундаментальная форма человеческой жизни в современную эпоху, вызывающая нервные расстройства и в конечном итоге влекущая за собой вырождение. Такая модель нередко встречается в социальных романах европейского натурализма; в России она опять-таки представлена творчеством Мамина-Сибиряка, в чьем романе «Хлеб» (1895) и борьба за существование, и дегенерация изображаются как составляющие классического натуралистического мира, где старые социально-экономические отношения рушатся под натиском капитализма. Однако автор вновь сводит свою повествовательную стратегию к абсурду, желая подчеркнуть принципиально случайную, ничем не predetermined природу жизни (гл. VII.2).

С другой стороны, вырождение также считается признаком биологической неприспособленности (*unfitness*) индивидуального или коллективного организма и, следовательно, оказывается чрезвычайно невыгодным в эволюционной борьбе за выживание. Если природа создала механизмы уничтожения «слабейших», то цивилизация, согласно этой точке зрения, нарушила причинно-следственное эволюционное равновесие путем «ложной» заботы о таких индивидах. Глава VII.3 воссоздает вытекающие отсюда споры о необходимости евгенических мер, причем особое внимание уделяется неоднозначным взглядам Дарвина, высказанным в труде «Происхождение человека» («*The Descent of Man*», 1871). Именно к противоречиям и парадоксам дарвиновской аргументации – но вместе с тем и к заключенному в них творческому потенциалу – обращается А. П. Чехов в повести «Дуэль» (1891), выводя их на сцену и в буквальном смысле заставляя драться на дуэли. Полная гротескного драматизма карнавализация, которой подверг нарративы о вырождении евгенической направленности Чехов, резко контрастирует с тревожной картиной будущего в утопии «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века» (1903) К. С. Мережковского, где люди находят спасение от всеобщего вырождения в евгенической программе, предусматривающей последовательную селекцию всего населения земли (гл. VIII).

Итак, совместный путь, проделанный литературой и психиатрией в конце XIX века и рассматриваемый в этой книге с ограниченной точки зрения повествовательного аспекта теории вырождения¹⁵, от семейной хроники Салтыкова-Щедрина ведет к евгенической утопии-дистопии Мережковского и позволяет увидеть российскую эпоху *fin de siècle* в новом, подчас неожиданном свете. Этот путь, который никак нельзя назвать прямым, пролегает через обширное поле биомедицинских дискурсов и нарративов рубежа XIX–XX веков, значение которых в истории русской культуры начали углубленно изучать лишь в последние годы¹⁶. Цель настоящей книги в контексте этих исследований состоит не только в том, чтобы подчеркнуть до сих пор обделенную вниманием конститутивную роль русской литературы в становлении и развитии дискурса о вырождении¹⁷. Важно еще и показать, что сам этот дискурс складывается из нарративных структур, возникших в результате тесного взаимодействия литературы и психиатрии. Адекватный анализ принадлежащих к этому дискурсу научных и художественных текстов о вырождении возможен лишь при условии, что они будут рассматриваться как элементы соответствующего интердискурсивного поля. Сосредоточенность на нарративной стороне кон-

¹⁵ Этим ограничением продиктован отбор исследуемого материала, по указанной причине направленный на повествовательную литературу и не принимающий во внимание лирику и драму. См. также главу V.

¹⁶ См., в частности: Beer. *Renovating Russia*; Могильнер М. Homo impetii: Очерки истории физической антропологии в России. М., 2008. См. также главу IV.1.

¹⁷ Ирина Сироткина (*Сироткина*. Классики и психиатры), исследующая значение литературы для ранней русской психиатрии, почти не уделяет внимания теории вырождения.

цепции вырождения позволит лучше понять объединяющий литературу и психиатрию 1880–1890-х годов совместный процесс испытания возможностей, условий и границ повествовательности вообще.

II. Литературное начало. Роман о вырождении и натурализм

У истоков русского дискурса о вырождении стоит художественное произведение – роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875–1880). Эта «самая мрачная в русской литературе» книга¹⁸ рассказывает о психофизической, нравственной и материальной деградации одного помещичьего рода после отмены крепостного права, причем прогрессирующее вырождение и угасание семьи Головлевых на протяжении трех поколений призвано воплощать упадок русского поместного дворянства. «Господа Головлевы» – это первый в русской литературе роман о вырождении, одновременно принадлежащий к общеевропейскому контексту романов 1880–1910-х годов о биологически мотивированных «закатах семей». В таких романах, возникающих по всей Европе, семья и семейная наследственность выступают полноправными «героями» проникнутой детерминизмом истории упадка, а психофизические болезни и другие ненормальные явления – симптомами прогрессирующего процесса разложения. Романы этого типа соединены отношением преемственности (а нередко и тесными интертекстуальными связями) с двадцатитомной семейной эпопеей Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («*Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire*», 1871–1893), международный успех которой заметно способствовал утверждению этой формы биологического повествования.

Таково, в частности, содержание скандинавских романов «Дряхлеющий век» («*Naabløse Slægter*», 1880–1884) Германа Банга и «Флаги реют над городом и над гаванью» («*Det flager i byen og på havnen*», 1884) Бьёрнстjerne Бьёрнсона; в Германии «Болезнь века» («*Die Krankheit des Jahrhunderts*», 1887) Макса Нордау кладет начало традиции, к которой принадлежат «Декаденты» («*Die Dekadenten*», 1898) Герхарда Оукамы Кноопа, «Будденброки» («*Buddenbrooks*», 1901) Томаса Манна и «Вечерние дома» («*Abendliche Häuser*», 1914) Эдуарда фон Кайзерлинга¹⁹; в Италии проект Золя развивает Джованни Верга в романах «Семья Малаволя» («*I Malavoglia*», 1881) и «Мастро дон Джезуальдо» («*Mastro don Gesualdo*», 1888), а на португальскую и испанскую почву его переносят Жозе Мария Эса ди Кейрош в романе «Знатный род Рамирес» («*A ilustre casa de Ramires*», 1901) и Бенито Перес Гальдос в «Обездоленной» («*La desheredada*», 1881)²⁰. Воспринимают эту повествовательную традицию и в славянском мире, причем на рубеже веков роман о вырождении наиболее широко распространяется – помимо России – в южнославянских странах. В Хорватии это «Мертвые капиталы» Йосипа Козараца («*Mrtvi kapitali*», 1890), «Последние Стипанчичи» («*Poslednji Stipančići*», 1899) Венцеслава Новака и «Дука Бегович» («*Đuka Begović*», 1909) Ивана Козараца, а высшим достижением жанра становится цикл Мирослава Крлежи «Глембаи» («*Glembajevi*», 1926–1931)²¹; в сербской

¹⁸ Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. Лондон, 1992. С. 440.

¹⁹ Wille W. Studien zur Dekadenz in Romanen um die Jahrhundertwende. Greifswald, 1930. S. 111–155; Pross C. Dekadenz. Studien zu einer großen Erzählung der frühen Moderne. Göttingen, 2013. В работе Каролины Просс отмечена дискурсивная и нарративная взаимосвязь «декадентских романов» с психиатрической наукой, до сих пор не получившая должного внимания.

²⁰ Stannard M. W. Degeneration Theory in Naturalist Novels of Benito Pérez Galdós. Ph. D. Diss. University of Minnesota, 2011.

²¹ Цикл Крлежи, повествующий о взлете и падении одного чрезвычайно разветвленного хорватского знатного рода, состоит из одиннадцати прозаических частей, а также из драм «Господа Глембаевы» («*Gospoda Glembajevi*», 1926), «В агонии» («*U agoniji*», 1928) и «Леда» («*Leda*», 1931). Драммы Крлежи возникают в контексте распространения нарратива о вырождении в европейском театре: можно вспомнить, в частности, «Привидения» («*Gengangere*», 1881) Генрика Ибсена, «Перед восходом солнца» («*Vor Sonnenaufgang*», 1889) Герхарта Гауптмана и «Фрёкен Жюли» («*Fröken Julie*», 1889) Августа Стриндберга.

литературе важнейшим примером служит «Дурная кровь» («Nečista krv», 1910) Боря Станковича²².

Контекст возникновения первых романов о вырождении, прежде всего цикла романов Золя о Ругон-Маккарах, представляет собой интердискурсивное поле, в формировании которого участвуют в равной степени литература и медицина, причем натурализм стремится к соотносению обоих дискурсов и достигает цели благодаря причастности к наддискурсивному режиму знания²³. «Вырождение» как понятие и нарратив изначально возникает в психиатрии. Теория вырождения, изложенная Бенедиктом Огюстеном Морелем в «Трактате о телесной, умственной и нравственной дегенерации человеческого вида» («Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine», 1857) как генеалогическая модель интерпретации нервно-душевных заболеваний, составляет научную базу натуралистического романа о вырождении, воспринявшего нарративный аспект психиатрической теории (гл. II.1) и давшего ему художественное выражение. В русской культуре, напротив, наблюдается обратное соотношение медицинского и литературного дискурсов: задача создать повествование о вырождении встает перед русской литературой еще до того, как институционально сложившаяся лишь к концу 1880-х годов российская психиатрия начнет насаждать соответствующую теорию.

В том обстоятельстве, что в России дискурс о вырождении сначала возникает в литературе, нет ничего удивительного, если принять во внимание характерную для русской литературы XIX века тенденцию служить пространством формирования различных дискурсов²⁴. Как известно, столь высокую ценность, которую литература получила в России, объясняют разными причинами: от почти священного, восходящего к православной традиции статуса письменного слова как носителя «истины»²⁵ – до строгой цензуры, мешавшей независимому развитию разных дисциплин (в частности, философии) и дискурсов²⁶. Впрочем, более уместным для объяснения «литературности» раннего русского дискурса о вырождении представляется системно-теоретический подход в духе Никласа Лумана: гетерономная функция русской литературы XIX столетия как используемого разными дискурсами эпистемологического медиума обусловлена тем фактом, что в России литература так и не выделилась в независимую социальную подсистему²⁷. Не в последнюю очередь это касается характерного для русского реализма слияния медицины и литературы. Как убедительно показала Сабина Мертен, русская литература 1840–1860-х годов, от физиологических очерков до произведений Тургенева, Гончарова и Достоевского, служит пространством формирования – и вместе с тем экспериментального испытания – медицинских теорий о человеке и обществе²⁸. Физиологические, нейропсихологические и психиатрические модели разграничения здоровья и болезни, нормы и патологии «проигрываются» в литературе, подтверждая ее выдающиеся возможности в области социальной диагностики. Вместе с тем такая нечеткая дискурсивная дифференциация медицины и

²² Nicolosi R. Unreine Liebe. B. Stanković's Nečista krv als Degenerationsroman // Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert / Hg. von R. Hodel. Frankfurt a. M., 2007. S. 159–176. Сравнительный анализ европейских романов о вырождении остается задачей будущего. О *мотиве* вырождения в европейском натурализме см.: Parnes O. u. a. Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Frankfurt a. M., 2008. S. 174–187.

²³ Gumbrecht H. U. Zola im historischen Kontext. Für eine neue Lektüre des Rougon-Macquart-Zyklus. München, 1978; Müller H.-J. Zola und die Epistemologie seiner Zeit // Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte. 1981. № 5/1. S. 74–101.

²⁴ Одним из первых это наблюдение высказал Пауль Эрнст в своем труде «Лев Толстой и славянский роман» («Leo Tolstoi und der slawische Roman», 1889). См. также: Žmegač V. Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik. Tübingen, 1990. S. 203.

²⁵ Murašov J. Jenseits der Mimesis. Russische Literaturtheorie im 18. und 19. Jahrhundert von M. V. Lomonosov zu V. G. Belinskij. München, 1993.

²⁶ Städtke K. Ästhetisches Denken in Rußland. Kultursituation und Literaturkritik. Berlin, 1978.

²⁷ Kretzschmar D. Identität statt Differenz. Zum Verhältnis von Kunsttheorie und Gesellschaftsstruktur in Russland im 18. und 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M., 2002.

²⁸ Merten S. Die Entstehung des Realismus aus der Poetik der Medizin. Die russische Literatur der 40er bis 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden, 2003.

литературы способствует развитию специфических приемов и подходов в русском реализме, в частности при изображении человеческого сознания, что позволяет Мертен говорить о «поэтике медицины» как об основе литературного реализма.

Конечно, принципиально интердискурсивный характер русской литературы XIX века и ее близость к медицинским нарративам заметно повлияли на литературное обоснование дискурса о дегенерации в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Однако для того, чтобы понять специфику литературного дискурса о вырождении во всей полноте, необходимо учитывать проблему рецепции. Чисто литературные истоки русского романа о вырождении объясняются не в последнюю очередь тем фактом, что русская литература воспринимает соответствующую концепцию в ее натуралистическом изводе, предполагающем характерное для Золя слияние психиатрической науки и художественных повествовательных моделей. Русский роман о вырождении конца 1870-х – начала 1880-х годов, представленный, помимо «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина, «Братьями Карамазовыми» Ф. М. Достоевского (1879–1880) и «Приваловскими миллионами» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка²⁹, имеет критические интертекстуальные связи с литературной теорией и практикой натурализма в творчестве Золя, ранняя рецепция которого в России – интенсивная, однако ныне забытая – нуждается в подробном рассмотрении (гл. II.3). Сначала я реконструирую (гл. II.1) историю возникновения во французской психиатрии теории дегенерации, составившей научный фундамент романного цикла Золя. При этом особое внимание уделяется ее повествовательному аспекту, поскольку именно он составляет ядро всей теории: дегенерация с самого начала предстает как *masterplot*, «большой рассказ»³⁰, принимающий в натурализме форму мифоэпического повествования³¹. Следующим шагом (гл. II.2) станет анализ диегетического своеобразия романа о вырождении, принадлежащего к традиции Золя, причем главное внимание будет уделено аспекту событийности, важнейшему для понимания романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Наконец, будет показано (гл. II.4), как Салтыков-Щедрин, соединяя золаистский роман о вырождении с русской традицией романа-хроники, представленной прежде всего «Захудалым родом» (1874) Н. С. Лескова, создает такой художественный мир, где дегенеративный процесс предполагает неустанное прогрессирование и вместе с тем проникнутое чувством клаустрофобии оцепенение. В «Господах Головлевых» приемы натурализма гипертрофируются до такой степени, что нарратив о вырождении оборачивается навязчивым повторением одной и той же структуры. Тенденция к бессюжетности, свойственная некоторым романам о вырождении, в «Господах Головлевых» достигает высшей и вместе с тем конечной точки. Последовательный отказ от категории события в изображении болезненно замкнутого мира Головлева приводит к разрыву повествовательной ткани, что делает дальнейший литературный рассказ о вырождении невозможным. Повествовательные стратегии, при помощи которых Достоевский и Мамин-Сибиряк выводят русский роман о вырождении из этого повествовательного тупика, рассматриваются отдельно в третьей части книги.

²⁹ Подробнее о «Братьях Карамазовых» и «Приваловских миллионах» см. в главах III.2 и III.3 этой книги.

³⁰ «Большой рассказ» (*grand récit*) в том смысле, в каком его понимает Лиотар: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М., 1998.

³¹ Делёз Ж. Золя и трещина // Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М., 2011. С. 422–437.

II.1. Неуловимое вырождение и всесильный нарратив. Теория вырождения во французской психиатрии (Морель, Маньян)

Обоснование теории вырождения у Мореля

В цикле романов Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («*Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire*», 1871–1893) понятие «вырождение» выступает не только и не столько сциентистской метафорой описываемого упадка Второй империи во Франции, сколько отсылкой к конкретной научной теории³². Независимо от уровня научной ценности, признаваемой за созданной писателем инсценировкой дегенеративных процессов (гл. III.1), медицинские основы цикла несомненны: реализованная в «Ругон-Маккарах» эпистемологическая модель *dégénérescence* восходит к идеям французского психиатра Бенедикта Огюстена Мореля, автора «Трактата о телесной, умственной и нравственной дегенерации человеческого вида» («*Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine*», 1857)³³. Успех этого трактата привел к возникновению биологической психиатрии, во второй половине XIX века распространившейся по всей Европе. В основе такой психиатрии лежит теория вырождения³⁴.

Морель мыслит в русле психиатрии XIX века, сложившейся самое позднее с приходом Вильгельма Гризингера и имевшей неврологическую направленность. Французский психиатр тоже считает патологические перемены в восприятии, мышлении и поведении органически обусловленными изменениями, вызванными ослаблением нервной системы³⁵. Подлинное новаторство Мореля состоит в том, что он стал рассматривать психические нарушения в рамках причинно-временной схемы, интерпретирующей причину и ход развития подобных патологий на основе разработанной Проспером Люка теории наследственности («Философский и физиологический трактат о естественной наследственности» [«*Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle*»], 1847–1850)³⁶. В морелевской теории вырождения наследственность,

³² Malinas Y. Zola et les hérédités imaginaires. Paris, 1985; Föcking M. Pathologia litteralis. Erzählte Wissenschaft und wissenschaftliches Erzählen im französischen 19. Jahrhundert. Tübingen, 2002. S. 281–345; Küster S. Medizin im Roman. Untersuchungen zu «Les Rougon-Macquart» von Émile Zola. Göttingen, 2008. S. 6–74.

³³ Хотя для тогдашнего психиатрического дискурса «изобретенная» Морелем теория вырождения была новаторской, сам он также связывал ее со старыми примерами употребления понятия *dégénérescence*. См. об этом: Burgener P. Die Einflüsse des zeitgenössischen Denkens in Morels Begriff der «dégénérescence». Zürich, 1964. Термин «вырождение» употреблялся в медицинском дискурсе еще до Мореля, в частности в трудах Жак-Жозефа Моро де Тура и Рудольфа Вирхова. Ср.: Mann G. Dekadenz – Degeneration – Untergangsangst im Lichte der Biologie des 19. Jahrhunderts // *Medizinhistorisches Journal*. 1985. № 20 / 1, 2. S. 6–35. S. 7. Об употреблении понятия «вырождение» в естествознании XVIII века, особенно у Бюффона, см.: Huertas R. Madness and Degeneration, I. From «Fallen Angel» to Mentally Ill // *History of Psychiatry*. 1992. № 3. P. 391–411. P. 395–396; Nussbaum F. A. The Limits of the Human: Fictions of Anomaly, Race, and Gender in the Long Eighteenth Century. Cambridge, 2003.

³⁴ Shorter E. A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac. New York, 1997. P. 69–112.

³⁵ О теории вырождения с медицинской точки зрения см.: Leibbrand W., Leibbrand-Wettley A. Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen Psychopathologie. Freiburg; München, 1961. S. 519–545; Werlinder H. Psychopathy: A History of the Concepts – Analysis of the Origin and Development of a Family of Concepts in Psychopathology. Uppsala, 1978. P. 52–85; Ackerknecht E. Kurze Geschichte der Psychiatrie. 3. Aufl. Stuttgart, 1985. S. 53–58; Dowbiggin I. R. Degeneration and Hereditarianism in French Mental Medicine 1840–90: Psychiatric Theory as Ideological Adaptation // *The Anatomy of Madness: Essays in the History of Psychiatry*. Vol. 1: People and Ideas / Ed. by W. F. Bynum and R. Porter. London; New York, 1985. P. 188–232; Dowbiggin I. R. Inheriting Madness: Professionalization and Psychiatric Knowledge in Nineteenth Century France. Berkeley, 1991; Mann. Dekadenz – Degeneration – Untergangsangst; Huertas. Madness and Degeneration; Shorter. A History of Psychiatry. P. 93–99; Cartron L. Degeneration and «Alienism» in Early Nineteenth-Century France // *Heredity Produced: At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 1500–1870* / Ed. by S. Müller-Wille and H.-J. Rheinberger. Cambridge, Mass.; London, 2007. P. 155–174.

³⁶ Huertas. Madness and Degeneration. P. 397–398. Тем самым Морель осуществил переход от описательной психиатрии в

которой еще в первой половине XIX века отводили – в частности, Гризингер – скорее второстепенную роль в этиологии психических расстройств, превращается в главную причину психозов и неврозов³⁷.

Теория Мореля основана на свойственном XIX столетию доэкспериментальном, априорном представлении о наследственности, определявшемся скорее метафизическим умозрением и комбинаторными «фантазиями»³⁸, нежели эмпирической доказательностью³⁹. Вплоть до начала XX века, когда было заново открыто учение о наследственности Георга Менделя, заложившего основы современной генетики, не существовало ни одного сколь-нибудь удовлетворительного ответа на вопрос о природе наследственности, о том, что именно и как наследуется. Вытекающее отсюда расплывчатое представление о механизмах наследования резко контрастирует с эвристически-диагностическим применением понятия наследственности в науках о жизни. В «Трактате» Проспера Люка представлен чрезвычайно широкий взгляд на процессы наследования признаков, охватывающий физические, психические, а также моральные характеристики; при этом выделяются как устойчивые признаки, гарантирующие выживание вида, так и неустойчивые, объясняющие появление индивидуальных вариаций. По мнению Люка, природа обладает творческой силой, способной разрывать детерминистскую цепь имитативной *hérédité* путем создания различий (*innéité*)⁴⁰.

Именно на выдвинутую Люка концепцию *hérédité dissimilaire* опирается Морель⁴¹, утверждая, что постулированная им самим возможность передачи приобретенных патологических изменений индивидуальной «внутренней среды» (*milieu intérieur*) последующим поколениям означает не прямую наследуемость конкретной болезни, а осуществляемую на протяжении поколений передачу общего ослабленного состояния центральной нервной системы, так называемого «нервного диатеза», органической предрасположенности к нервным заболеваниям⁴². Вследствие постоянной трансформации и аккумуляции развитие этого диатеза носит прогрессирующий, изменчивый характер, выливаясь в разнообразные и все более тяжелые психофизические расстройства, а также отклонения в социальном поведении, чтобы в конце концов, на протяжении считанных поколений привести к угасанию пораженного рода⁴³.

традиции Филиппа Пинеля или Жан-Этьена Эскироля, классифицирующей душевные болезни исходя из проявления симптомов в синхронии, к такой, которая объявила генеалогический принцип ключом к этиологии психических расстройств. *Föcking. Pathologia litteralis*. S. 292; *Roelcke V. Krankheit und Kulturkritik. Psychiatrische Gesellschaftsdeutungen im bürgerlichen Zeitalter (1790–1914)*. Frankfurt a. M.; New York, 1999. S. 86.

³⁷ *Dowbiggin. Degeneration and Hereditarianism*. P. 189. Именно теория вырождения непосредственно способствовала распространению концепции наследственности в Европе. *Olby R. C. Constitutional and Hereditary Disorders // Companion Encyclopedia of the History of Medicine*. Vol. 1 / Ed. by W. F. Bynum and R. Porter. London; New York, 1993. P. 412–437. P. 416.

³⁸ *Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit*. Bd. 4: Von Hegels Tod bis zur Gegenwart [1832–1932]. Darmstadt, 1994. S. 185.

³⁹ *Barthelmeß A. Vererbungswissenschaft*. Freiburg; München, 1952. S. 44–55; *Waller J. C. «The Illusion of an Explanation»: The Concept of Hereditary Disease, 1770–1870 // Journal of the History of Medicine*. 2002. № 57. P. 410–448; *Parnes O. «Es ist nicht das Individuum, sondern es ist die Generation, welche sich metamorphosiert». Generationen als biologische und soziologische Einheiten in der Epistemologie der Vererbung im 19. Jahrhundert // Generation. Zur Genealogie des Konzepts – Konzepte von Genealogie / Hg. von S. Weigel u. a. München, 2005. S. 235–259; *López-Beltrán C. The Medical Origins of Heredity // Heredity Produced: At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 1500–1870 // Ed. by S. Müller-Wille and H.-J. Rheinberger. Cambridge, Mass.; London, 2007. P. 105–132; *Rheinberger H.-J., Müller-Wille S. Vererbung. Geschichte und Kultur eines biologischen Konzepts*. Frankfurt a. M., 2009. S. 101–129.**

⁴⁰ О чрезвычайно широком понимании наследственности свидетельствует разработанная Люка типология, где наряду с «прямой» (по прямой материнской или отцовской линии) и «непрямой» (по боковым линиям) наследственностью фигурирует наследование характерных признаков от дальних предков (*hérédité en retour*), а также от не родных по крови лиц, так называемое «наследование путем влияния» (*hérédité d'influence*), оказываемого первым половым партнером женщины на ее потомство (*López-Beltrán C. In the Cradle of Heredity: French Physicians and «L'Hérédité Naturelle» in the Early 19th Century // Journal of the History of Biology*. 2004. № 37/1. P. 39–72. P. 62–64).

⁴¹ *Huertas. Madness and Degeneration*. P. 398.

⁴² О концепции «диатеза» и ее роли в изучении наследственных заболеваний медициной XIX века см.: *Ackerknecht E. Diathesis: The Word and the Concept in Medical History // Bulletin of the History of Medicine*. 1982. № 56. P. 317–325.

⁴³ «Un des caractères les plus essentiels des dégénérescences est celui de la transmission héréditaire, mais dans des conditions bien

С одной стороны, морелевская теория вырождения принадлежит к ламаркистской традиции наследования приобретенных признаков, обеспечивающей предпосылку для аргументированного обоснования накопительного, прогрессирующего характера дегенеративных процессов⁴⁴. С другой стороны, Морель отчасти разделяет преобладавшую в тогдашней французской биологии концепцию неизменности видов Кювье, в рамках которой изменчивость – вопреки дарвинистской интерпретации – считается негативным для стабильности и выживания вида фактором⁴⁵. Морель прослеживает историю вырождения вплоть до момента грехопадения, в котором усматривает первое «болезненное отклонение от нормального человеческого типа»⁴⁶. Отклонения от «„type primitif“, несшего в себе черты божественного образа и подобия в наиболее чистом виде <...> составляют два главных направления, ведущих к появлению двух совершенно различных между собой человеческих разновидностей: естественных вариаций человеческого рода, нормальных расовых групп, а внутри них – тех ненормальных состояний, которые Морель называет проявлениями дегенерации»⁴⁷.

Детерминистско-телеологический «закон Мореля», важнейшими элементами которого являются идея сдвоенного наследования телесных и нравственных недугов⁴⁸ и представление о прогрессирующем характере вырождения, выстраивает генеалогическую градацию, согласно которой все более серьезные патологии – от легких невротических расстройств до врожденного «идиотизма» – приводят к «вымиранию семьи» на протяжении от трех до пяти поколений⁴⁹. Столь стремительное вырождение вызвано разрушительным взаимодействием эндогенных и экзогенных факторов: губительное влияние среды закрепляется в наследственности конкретной семьи и ослабляет нервную систему до такой степени, что она не может больше сопротивляться ни последующим экзогенным «нападениям», ни эндогенному воздействию изменчивого нервного диатеза⁵⁰.

autrement graves que celles qui règlent les lois ordinaires de l'hérédité. <...> [L]es produits des êtres dégénérés offrent des types de dégradation progressive. Cette progression peut atteindre de telles limites que l'humanité ne se trouve préservée que par l'excès même du mal, et la raison en est simple: l'existence des êtres dégénérés est nécessairement bornée, et, chose merveilleuse, il n'est pas toujours nécessaire qu'ils arrivent au dernier degré de la dégradation pour qu'ils restent frappés de stérilité, et conséquemment incapables de transmettre le type de leur dégénérescence» (*Morel B. A. Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés malades*. Paris, 1857 [Reprint New York, 1976]. P. 4–5).

⁴⁴ Nye R. A. *Crime, Madness, and Politics in Modern France: The Medical Concept of National Decline*. Princeton, 1984. P. 119–131; Gatlin S. H. Charles Darwins Idee der natürlichen Selektion im «Journal of Mental Science» (1859–1875) // *Die Rezeption von Evolutionstheorien im 19. Jahrhundert* / Hg. von E.-M. Engels. Frankfurt a. M., 1995. S. 262–280. О роли додарвиновских концепций в Европе XIX столетия см.: Bowler P. J. *The Non-Darwinian Revolution. Reinterpreting a Historical Myth*. Baltimore; London, 1988.

⁴⁵ Föcking. *Pathologia litteralis*. S. 289.

⁴⁶ «[D]éviations malades du type primitif ou normal de l'humanité». *Morel. Traité des dégénérescences*. P. 15.

⁴⁷ Там же. P. 4. Цитируется в пересказе по: Leibbrand, Leibbrand-Wetley. *Der Wahnsinn*. S. 526.

⁴⁸ Морель («Traité des dégénérescences», P. 685) подчеркивает взаимно обусловленный характер психических и физических отклонений, иллюстрируя свою мысль помещением в конце «Трактата» «Атласом» с изображениями и словесными портретами носителей психофизических «отклонений».

⁴⁹ «[E]xtinction de la famille». Там же. P. 96.

⁵⁰ В числе *causae primae* дегенерации Морель называет отравление (вследствие перенесенной болезни, пьянства или употребления опиума), губительное влияние социальной среды (как в сельской местности, так и в промышленных центрах), нравственные расстройства, врожденные или приобретенные пороки. Наиболее опасным он считает сочетание физических изъянов с моральными («Закон двойного оплодотворения»). Ackerknecht. *Kurze Geschichte der Psychiatrie*. S. 55; Huertas. *Madness and Degeneration*. P. 399–400. Нозологическое применение Морелем теории вырождения содержится в его «Трактате о душевных болезнях» («Traité des maladies mentales», 1860), относящем дегенеративные нарушения к группе наследственных душевных заболеваний. Huertas. *Madness and Degeneration*. P. 404.

Дегенерация, эволюция и современная цивилизация (Маньян)

После Мореля концепция вырождения становится универсальным этиологическим и диагностическим инструментом французской психиатрии⁵¹. В трудах главного врача парижской психиатрической больницы святой Анны Валантена Маньяна, которым предшествовали работы Жак-Жозефа Моро де Тура («*La psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire*», 1859), Анри Леграна дю Соля («*La folie héréditaire*», 1873) и других психиатров, теория вырождения подверглась значительной систематизации и вместе с тем претерпела эволюционистский сдвиг⁵². Отвергнув морелевскую религиозную концепцию *type primitif*, Маньян рассматривает человечество в контексте позитивистской эволюционной мысли, предполагающей процесс постоянного «совершенствования» по направлению к высшим формам дифференциации: таким образом, «идеальный тип» надлежит искать не в начале, а в конце истории вида⁵³. Вырождение Маньян считает «прогрессивным движением», противоположным движению эволюционному, поскольку вырождение ведет «от более совершенного состояния к менее совершенному»⁵⁴. При этом речь не идет о «регрессе» или «замедлении с точки зрения эволюции», так как это означало бы «возврат к состоянию, почитаемому нормальным»⁵⁵: вырождение – это скорее патологическое новообразование, «нечто качественно иное, болезненное состояние без возможности восстановления»⁵⁶. Вследствие этого дегенерат «отличается органически ослабленной сопротивляемостью», т. е. необходимыми для «наследственной борьбы за выживание» биологическими предпосылками он обладает лишь частично⁵⁷. Это выражается, в частности, в принципиальной неспособности дегенерата – в отличие от «здорового цивилизованного человека» – сдерживать свои инстинкты посредством «разумной воли»⁵⁸. Как и Морель, Маньян тоже приписывает вырождению каузально-телеологический характер, в силу которого «прогрессивность» нарушений и пороков развития, как правило, оказывается необратимой и в конечном итоге приводит к «бесплодию»⁵⁹.

На основе этой эволюционистской объяснительной модели Маньян выделяет четыре группы дегенератов, при всех различиях образующих «общее семейство»⁶⁰: это «идиоты», ведущие «чисто растительную жизнь» и лишенные «способности сдерживать вызываемые чув-

⁵¹ Генри Ф. Элленбергер указывает, что в 1870–1880-х годах «почти все медицинские заключения, выдаваемые во французских психиатрических лечебницах, [начинались] со слов „dégénérescence mentale, avec...“» (*Ellenberger H. F. Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung. Zürich, 1985. S. 388*).

⁵² О роли Маньяна в истории психиатрии и занимаемой им теоретической позиции между Морелем и Крепелином см.: *Dowbiggin I. R. Back to the Future: Valentin Magnan, French Psychiatry, and the Classification of Mental Diseases, 1885–1925 // Social History of Medicine. 1996. № 9/3. P. 383–408*.

⁵³ «L'anthropologie nous a montré que la perfection était en tension dans toutes les espèces, que la perfectibilité est une qualité de tout être qui évolue normalement. C'est donc à l'opposé de l'origine de l'espèce qu'il faut chercher le type idéal; c'est à sa fin <...>» (*Legrain P. M., Magnan V. Les dégénérés. État mental et syndromes épisodiques. Paris, 1895. P. 75*).

⁵⁴ «[L]a dégénérescence <...> doit être constituée par un mouvement de progression d'un état plus parfait vers un état moins parfait <...>» (*Ibid. P. 76*).

⁵⁵ «La régression ou réversion serait également un recul vers un état réputé normal <...>. Ce ne serait qu'un retard dans le sens de l'évolution» (*Ibid.*). Это разграничение направлено против учения Ломброзо об атавизме. См. также главу VI.1 этой книги.

⁵⁶ *Leibbrand, Leibbrand-Wetley. Der Wahnsinn. S. 531*.

⁵⁷ «<...> est constitutionnellement amoindri dans sa résistance psycho-physique et ne réalise qu'incomplètement les conditions biologiques de la lutte héréditaire pour la vie» (*Legrain, Magnan. Les dégénérés. P. 79*). Подробнее о вырождении, дарвинизме и борьбе за существование см. в главе VII.1 этой книги.

⁵⁸ *Magnan V. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3: Über die Geistesstörungen der Entarteten. Leipzig, 1892. S. 17*.

⁵⁹ «[C]et état morbide constitutionnel s'aggrave progressivement <...> la stérilité est, en effet, le cachet ultime de la dégénérescence» (*Legrain, Magnan. Les dégénérés. P. 78*).

⁶⁰ *Magnan V. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 1. Leipzig, 1891. S. 1*.

ственными раздражителями побуждения»⁶¹; «имбецилы, в некоторой степени поддающиеся воспитанию, однако не способные заботиться о себе самостоятельно из-за слабоумия и неразвитой способности к суждению; дебилы, способные, несмотря на ограниченные возможности, при определенных обстоятельствах устроиться в жизни; и, наконец, неуравновешенные, высший класс дегенератов, обладающие неустойчивой психикой и демонстрирующие интеллектуальные и моральные изъяны, подчас в сочетании с блестящими способностями»⁶².

Маньян считает дегенерацию явлением, не имеющим социальных ограничений и угрожающим современной цивилизации в целом; вырождение может поразить «ученого, замечательного чиновника, великого художника, математика, политика, талантливого государственного деятеля, проявляясь в форме вопиющих нравственных изъянов, причудливых наклонностей, странного и беспорядочного образа жизни»⁶³. Кроме того, заметное расширение границ вырождения в интерпретации Маньяна выражается в распространении морелевского перечня телесных, умственных и нравственных стигматов, по которым можно узнать дегенерата:

Наследственные дегенераты⁶⁴, так сказать, с самого начала несут на себе клеймо: характерные телесные и душевные стигматы. С раннего возраста, иногда уже с четырех-пяти лет, когда еще не приходится говорить о последствиях неправильного воспитания, у больных могут проявиться навязчивые состояния, болезненные влечения, задержки развития, интеллектуальные и моральные отклонения, странности, имеющие характерную природу и, без сомнения, позволяющие отнести их носителям особое место⁶⁵.

Как и Морель, Маньян тоже считает, что телесные стигматы сопутствуют душевным, свидетельствуя о нарушениях развития и функционирования нервной системы⁶⁶. Это определение соматических признаков вырождения, восходящее к старой физиогномической традиции, обеспечивает отклонениям очевидный характер в обход эмпирической верифицируемости, приписывая физическим аномалиям функцию «наглядных доказательств»⁶⁷.

Однако Маньян придает большее значение душевным стигматам дегенерата, общим знаменателем которых выступает «дисгармония, неуравновешенность душевной жизни»⁶⁸: дегенеративное состояние представляет собой общее функциональное нарушение всего «нервного механизма», влекущее за собой «общую нестабильность»⁶⁹. Эту преднамеренно не уточняемую *déséquilibre* Маньян понимает как свойственное дегенерату патологическое «состояние» (*état*), которое существенно отличает его от человека «нормального», так как последствия этого «состояния» намного серьезнее проявлений морелевского «нервного диатеза»: это уже не предрасположенность как нечто потенциальное, а «своего рода постоянный причинный фон, исходя из которого может развиваться ряд процессов, ряд эпизодов, которые как раз и

⁶¹ Ibid. Bd. 2/3. S. 17.

⁶² Ibid. Bd. 1. S. 1.

⁶³ Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 6.

⁶⁴ Понятия *héréditaires*, *héréditaires dégénérés* и *dégénérés* Маньян использует как синонимы (Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. VI).

⁶⁵ Ibid. S. 3.

⁶⁶ Leibbrand, Leibbrand-Wetley. Der Wahnsinn. S. 531.

⁶⁷ Stügelin M. Der Verbrecher ohnegleichen. Die Konstruktion «anschaulicher Evidenz» in der Criminal-Psychologie, der forensischen Physiognomik, der Kriminalanthropometrie und der Kriminalanthropologie // Physiognomie und Pathognomie. Zur literarischen Darstellung von Individualität. Festschrift für Karl Pestalozzi zum 65. Geburtstag / Hg. von W. Groddeck und U. Stadler. Berlin; New York, 1994. S. 113–133.

⁶⁸ Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 4.

⁶⁹ Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 18.

будут болезнью»⁷⁰. Это «неизменное»⁷¹ (непрекращающееся) состояние обладает «безграничной способностью интеграции»⁷², позволяющей подвести под теорию вырождения не только почти любые душевные и нервные заболевания (от легких функциональных до тяжелых органических), но и ряд форм девиантного поведения, таких как преступность и проституция⁷³. Дегенеративное состояние – это «ненормальный цоколь»⁷⁴, на котором в любой момент могут возникнуть какие угодно *syndromes épisodiques*: число синдромов, этих «разных смен платья, в которые переодевается один и тот же больной – дегенерат», «бесконечно»⁷⁵. Пауль Юлиус Мёбиус, издатель маньяновских «Лекций по психиатрии», перечисляет во введении следующие патологии:

- 1) Болезненное вопрошание, болезненное мудрствование. Болезненная склонность к сомнениям (*folie du doute*), встречающаяся или сама по себе, или в сочетании с боязнью прикосновений (*délire du toucher*).
- 2) Боязнь острых предметов (айхмофобия), разновидность боязни прикосновений: иглы и любые острые предметы внушают больному страх.
- 3) Агорафобия, клаустрофобия, топофобия. Последняя представляет собой страх определенных мест.
- 4) Дипсомания.
- 5) Ситиомания, непреодолимая потребность принимать пищу. Больные все время едят.
- 6) Пиромания, навязчивые фантазии о совершении поджога или навязчивая страсть к поджигательству.
- 7) Пирофобия, беспричинная боязнь огня.
- 8) Клептомания.
- 9) Клептофобия, беспричинный страх больного что-либо украсть или беспочвенные опасения, будто он совершил кражу.
- 10) Ониомания, страсть к совершению покупок.
- 11) Игромания.
- 12) Навязчивые идеи, подталкивающие к убийству.
- 13) Влечение к самоубийству. <...>.
- 14) Ономатомания <...>.
- 15) Арифмомания, навязчивый счет или приписывание отдельным словам зловещего смысла.
- 16) Зоофиломания, болезненная любовь к животным.
- 17) Половые извращения, носящие характер одержимости.
- 18) Абулия, не обыкновенное слабование, а неспособность исполнить желаемое из-за мнимого противодействия некоей внешней силы, сопровождаемая чувством страха⁷⁶.

В последней трети XIX века концепция вырождения, благодаря своему безграничному полиморфизму и этиологической пластичности, превратилась в модель интерпретации мира, создание которой стало реакцией европейских культур на страх перед наступлением аномии, питаемый представлением о пугающей «изнанке прогресса»⁷⁷. В теории вырождения с самого начала присутствует антимодернистское социокультурное измерение: уже Морель, оглядываясь на Руссо, объясняет возникновение дегенеративных феноменов влиянием «неестествен-

⁷⁰ Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году / Пер. с фр. А. В. Шестакова. СПб., 2004. С. 370.

⁷¹ Magnan. Psychiatrie Vorlesungen. Bd. 2/3. S. VII.

⁷² Фуко. Ненормальные. С. 371.

⁷³ Nye. Crime, Madness, and Politics. P. 132–170; Rimke H., Hunt A. From Sinners to Degenerates: The Medicalisation of Morality in the Nineteenth Century // History of the Human Sciences. 2002. № 15/1. P. 59–88.

⁷⁴ Фуко. Ненормальные. С. 370.

⁷⁵ Magnan. Psychiatrie Vorlesungen. Bd. 2/3. S. IX.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Nye. Crime, Madness, and Politics. P. 97–170; Degeneration: The Dark Side of Progress / Ed. by J. E. Chamberlin and S. L. Gilman. New York, 1985; Drost W. Du Progrès à rebours. Fortschrittsglaube und Dekadenbewußtsein im 19. Jahrhundert: Das Beispiel Frankreich // Fortschrittsglaube und Dekadenbewußtsein im Europa des 19. Jahrhunderts / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 13–29; Pick D. Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918. Cambridge, 1989; Roelcke. Krankheit und Kulturkritik.

ных» социальных структур XIX века⁷⁸, общественными процессами модернизации⁷⁹. Маньян говорит в связи с этим об «эксцессах» современной цивилизации как о первопричине дегенерации⁸⁰. Теория вырождения обещает представить проявления социальной дезинтеграции чем-то однозначным и очевидным (не в последнюю очередь при помощи подробных перечней стигматов) и, таким образом, «защищает общество»⁸¹.

В этом контексте Юрген Линк называет концепцию вырождения «протонормалистской» (*protonormalistisch*) реакцией на «страх перед денормализацией» (*Denormalisierung*), возникающий в XIX столетии из-за размывания границ между нормой и отклонением⁸². Жорж Кангилем связывает эту смену парадигмы с так называемым «принципом Бруссе», согласно которому разница между «нормальным» и «патологическим» из качественной перешла в количественную⁸³. Норма становится «динамическим понятием, поскольку нормальность определяется через нормативность, т. е. через установление того, что следует считать нормальным»⁸⁴. С одной стороны, теория вырождения считает переход от нормального к патологическому цепью незаметных изменений, начало которой теряется в сфере нормальности⁸⁵; с другой стороны, – и в этом состоит протонормалистская сторона теории – дегенерат изображается как сущностно Другой, как тот, чья природа испорчена (как правило, бесповоротно) дефективной наследственностью. Таким образом, теория вырождения заново устанавливает строгую границу между нормой и отклонением, в то же время размывая ее слишком широким пониманием патологии⁸⁶.

Научное повествование и истории болезней. Вырождение как нарратив

Действенность концепции вырождения во второй половине XIX века – и как медицинской теории, и как социально- и культурно-критического дискурса – можно понять лишь с учетом ее нарративного аспекта. Нарративный потенциал дегенерации – это не только и не столько структурная предпосылка для ее художественного освоения в натурализме, сколько неотъемлемая центральная составляющая самой психиатрической теории: «Лишь генеалогический рассказ устанавливает между явлениями значимую связь, которая вне нарративной модели осталась бы бездоказательной»⁸⁷. Ведь теория вырождения всегда сохраняла статус умозрительной гипотезы, так как существование механизмов наследования, обеспечивающих передачу и прогрессирование приобретенных поражений, невозможно было доказать эмпирически⁸⁸.

⁷⁸ «[L]’influence des institutions sociales en désaccord avec la nature». Morel. *Traité des dégénérescences*. P. 3.

⁷⁹ Morel. *Traité des dégénérescences*. P. 50–51. См. также главу IV этой книги.

⁸⁰ «Les excès d’une civilisation avancée». Legrain, Magnan. *Les dégénérés*. P. 80.

⁸¹ Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб., 2005. С. 266–278.

⁸² Link J. Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. 2. Aufl. Opladen; Wiesbaden, 1999. S. 236–237.

⁸³ Canguilhem G. *Le normal et le pathologique*. Paris, 1966. P. 18–31.

⁸⁴ Warning R. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie»: Zolas Les Rougon-Macquart // *Poetica*. 1990. № 22. S. 355–338. S. 359.

⁸⁵ «Если не проведено границы, очерчивающей суть нормального, то ни один индивид не может считаться раз и навсегда надежно защищенным от денормализации» (Link. Versuch über den Normalismus. S. 541).

⁸⁶ Эта парадоксальность ярко проявилась в трудах П. Ю. Мёбиуса: с одной стороны, он утверждает, что понятие вырождения позволяет постичь «пограничные состояния» между душевной болезнью и здоровьем; с другой стороны, указывает, что теория вырождения вообще сделала невозможным «утверждение о совершенной нормальности того или иного человека» (Möbius P. J. *Über Entartung*. Wiesbaden, 1900. S. 102–111).

⁸⁷ Föcking. *Pathologia litteralis*. S. 301.

⁸⁸ Weingart P. u. a. *Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland*. Frankfurt a. M., 1988. S. 77–79.

Взаимная обусловленность знания и повествовательности делает теорию вырождения хотя и крайним, однако отнюдь не особым случаем в научном дискурсе эпохи: ее нарративность основана на «генетической мысли» (Рудольф Вирхов)⁸⁹ XIX века, т. е. на концептуализации временной глубины жизни, которой естественная история XVIII столетия еще не знала⁹⁰. Эта смена парадигмы заставила науки о жизни усиленно заняться поиском структур повествовательности, наилучшим образом подходящих для выражения идей темпорализации⁹¹. Так, нарратив составляет неотъемлемый элемент дарвиновского учения о происхождении видов, где эволюционный «сюжет» используется для придания научной убедительности эмпирически не доказуемому и не поддающемуся точной формализации знанию⁹².

В медицине рубежа XVIII–XIX столетий наблюдается переход от естественно-научного, преимущественно нозологического подхода, основанного на представлении об онтологически неизменной природе болезней, к подходу клиническому, для которого важно протекание болезни во времени⁹³. Из новаторского «Медико-философского трактата о душевных болезнях» («*Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale*», 1801) Филиппа Пинеля видно, что «акцент в семиотической практике смещается на этапы *истории* болезни – как своего рода знакообразующие элементы»⁹⁴:

Трактат Пинеля <...> исходит из положения о бессвязном, не поддающемся интерпретации характере внешних признаков болезни в случае, когда речь идет о психических расстройствах. <...> Лишь история болезни позволяет в какой-то мере преодолеть и упорядочить сумбурную разрозненность отдельных проявлений⁹⁵.

Морелевская концепция вырождения радикализирует этот нарративный аспект психиатрического дискурса: отныне повествовательные приемы призваны компенсировать эмпирическую слабость теории. Таким образом, речь идет не только и не столько о ретроспективном придании знанию наглядности, сколько о самом производстве знания: идея дегенерации немыслима в отрыве от соответствующей повествовательной модели.

В рамках теории вырождения все патологические девиантные явления выступают составляющими причинно-временного парадигматического ряда, связанными между собой отношением метонимии. Внутри этого органического континуума не существует такого болезненного проявления, которое не могло бы быть дегенеративным симптомом, так как уже само включение в *историю* вырождения устанавливает причинность и, следовательно, создает смысл. Временная последовательность подразумевает здесь и причинную связь, поскольку в нарративе о вырождении воплощается принцип *post hoc, ergo propter hoc*, т. е. приравнивания временной последовательности к логическому следованию: одно, следующее за другим, понимается еще и как следующее *из* другого⁹⁶.

⁸⁹ Föcking. Pathologia litteralis. S. 19.

⁹⁰ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 243–274; Lepenies W. Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. München; Wien, 1976.

⁹¹ О нарративной конъюнктуре XIX века, «an extraordinary need or desire for plots» [исключительной потребности в сюжетах или желании сюжетов], см.: Brooks P. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York, 1984. P. 5.

⁹² Beer G. Darwin's Plots. Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. 3rd ed. Cambridge, 2009. P. 80.

⁹³ Фуко М. Рождение клиники / Пер. с фр. А. Ш. Тхостова. М., 2010; Lepenies. Das Ende der Naturgeschichte. S. 78–87.

⁹⁴ Frey C. Am Beispiel der Fallgeschichte. Zu Pinels «*Traité médico-philosophique sur l'aliénation*» // Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen / Hg. von J. Ruchatz u. a. Berlin, 2007. S. 263–278. S. 271. Курсив оригинала.

⁹⁵ Ibid. S. 272.

⁹⁶ Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр., сост., вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 2000. С. 196–238. С. 207; Korthals H. Zwischen Drama und Erzählung. Ein Beitrag zur Theorie geschehendarstellender Literatur. Berlin, 2003. S. 91–92. Ивонн Вюббен не учитывает

Теория вырождения обретает научную доказательность исключительно благодаря нарративной структуре, в которой действует линейный временной порядок, вносящий смысл в бескрайний жизненный континуум⁹⁷. Это происходит двояким образом. С одной стороны, путем установления отправной точки дегенерации, «трещины» (*fêlure*) в родословной какой-либо семьи, причем поиск первого звена дегенеративной цепи, по сути, не может привести к достоверному результату ввиду многообразия рассматриваемых патологических явлений и вынужденной необходимости полагаться на рассказы самих пациентов о своих предках, редко поддающиеся проверке⁹⁸. С другой стороны, указанный эффект достигается развитием монокаузальной схемы дегенеративного процесса, предусматривающей неизбежный конец истории – угасание семьи на протяжении считанных поколений.

Модель дегенерации как *конечной* истории, имеющей начало, середину и окончание, требует аукториального субъекта познания, «который, направляя взгляд в прошлое и будущее, устанавливая необходимые аналогии и используя в высшей степени спекулятивные теории о наследственности (*hérédité*), должен подняться над эмпирическими данными»⁹⁹. Психиатр теперь выступает – *mutatis mutandis* – в роли рассказчика, который из аморфного континуума «событий», из неподатливой, понимаемой в биологико-виталистском ключе «жизни»¹⁰⁰ отбирает определенные элементы: «трещину в семейном организме», конкретные события и болезненные проявления в жизни пациента и его предков, – и увязывает все это в «историю», т. е. пролагает через события «смысловую линию», тем самым помещая отобранный материал в определенную перспективу¹⁰¹. Нарратив о вырождении функционирует подобно динамическому силовому полю, в котором одновременно действует, с одной стороны, линейаризация, сегментирующая повествование, гипертрофирующая его связность и «усмиряющая» хаотическую «агрессию» патологического, а с другой – принцип максимальной семантической открытости. Это сообщает нарративу чрезвычайную гибкость при описании разрозненных девиантных проявлений и компенсирует отсутствие эмпирических доказательств. Такая нарративная гибкость делает теорию вырождения нефальсифицируемой¹⁰².

Таким образом, жанр истории болезни совершенно необходим для пояснения теории, которая сама по себе доказательств представить не может¹⁰³. В данном случае «нарратологи-

этого аспекта и потому приходит к противоположному выводу, согласно которому рассказ о вырождении представляет собой «а-каузальное повествование»: «Учение о вырождении не допускает каузального повествования, предусматривая лишь хронологическое перечисление отдельных событий» (*Wibben Y. Verrückte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts. Konstanz, 2012. S. 193*).

⁹⁷ О смыслопорождающей функции нарративов единственно «в силу их структурного устройства» см.: Müller-Funk W. *Die Kultur und ihre Narrative*. Wien; New York, 2002. S. 29.

⁹⁸ *Föcking. Pathologia litteralis*. S. 298.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ О понимании жизни как фундаментальной витальной силы в науке XIX века см.: Фуко. *Слова и вещи*. С. 288–304.

¹⁰¹ О понятиях «событие», «история» и «смысловая линия» как составляющих нарративных трансформаций в повествовательном тексте см.: Шмид В. *Нарратология*. М., 2003. С. 158–174. Впрочем, придерживающийся теории вырождения психиатр поставит скорее с рассказчиком документального – а не художественного – текста, поскольку фиктивный рассказчик выдумывает заведомо фиктивные события, тогда как события документального текста обладают бытийной автономией. О нарративии в психиатрическом дискурсе XIX века см.: Wibben Y. *Die kranke Stimme. Erzählinstanz und Figurenrede im Psychiatrie-Lehrbuch des 19. Jahrhunderts // Der ärztliche Fallbericht. Epistemische Grundlagen und textuelle Strukturen dargestellter Beobachtung* / Hg. von R. Behrens und C. Zelle. Wiesbaden, 2012. S. 151–170.

¹⁰² Thomé H. *Autonomes Ich und «inneres Ausland»*. Studien über Realismus, Tiefenpsychologie und Psychiatrie in deutschen Erzähltexten (1848–1914). Tübingen, 1993. S. 173.

¹⁰³ Истории частных случаев вырождения – одно из выражений курса на описание индивидуальных случаев, взятого науками о человеке на рубеже XVIII–XIX столетий и впервые описанного Мишелем Фуко (Рождение клиники). Об эпистемологии и поэтологии форм научно-литературного письма в жанре *case studies* см., в частности: Pethes N. *Vom Einzelfall zur Menschheit. Die Fallgeschichte als Medium der Wissenspopularisierung zwischen Recht, Medizin und Literatur // Popularisierung und Popularität* / Hg. von G. Blaseio u. a. Köln, 2005. S. 63–92; *Fallstudien: Theorie – Geschichte – Methode* / Hg. von J. Süßmann u. a. Berlin, 2007; *Fall. Fallgeschichte. Fallstudie. Theorie und Geschichte einer Wissensform* / Hg. von S. Düwell und N. Pethes. Frankfurt a. M.; New York, 2014; *Was der Fall ist. Casus und Lapsus* / Hg. von I. Müller-Bach und M. Ott. Paderborn, 2014; Pethes

ческому дискурсу» отдается явное методологическое преимущество перед «семиологическим дискурсом»¹⁰⁴: семиотическая практика, которая основана «на описательной модели, предполагающей наличие дискретной патологической сущности со специфической этиологией, равно как и специфическим протеканием и результатом», и понимающей болезнь как «особую группу клинических признаков»¹⁰⁵, оказывается здесь недостаточной. На смену «визуально-семиотической деятельности», выстраиванию «клинической картины» приходит теперь «нарратологическая» модель, направленная на «выразимое словами и носящее временной характер» и нацеленная на «создание клинической „истории“»¹⁰⁶.

На примере истории болезни «jeune imbécile Joseph...» [молодого имбецила Жозефа] Марк Фёкинг показал, каким образом эти нарративные операции функционируют у Мореля¹⁰⁷. Морель рассматривает «слабоумие» Жозефа не как самостоятельную болезнь, а как конечную точку, как последний – поскольку приведший к бесплодию пациента – патологический эпизод семейной истории вырождения, начало которой Морель усматривает в пьянстве прадеда. Впрочем, такие временные рамки вырождения представляются всего лишь нарративной установкой, поскольку неочевидно, почему нервный диатез начинается именно с прадеда, а не с более отдаленного предка¹⁰⁸. Диахронический взгляд вглубь семейной истории «доказывает» предусматриваемое теорией прогрессивное, изменчивое развитие дегенеративного процесса: все «странности» потомков прадеда – *dépravation, abrutissement moral, accès maniaques, tendances hypocondriaques, tendances homicides, stupidité*¹⁰⁹ и т. д. – Морель интерпретирует как проявления потомственного нервного диатеза; затем они подводятся «под не зависящую от наблюдений эпистемологическую генеалогическую схему, позволяющую отличать случайные факты от детерминированных»¹¹⁰.

Итак, с целью сделать теорию вырождения правдоподобной Морель задеиствует – разумеется, бессознательно, но совершенно явным образом – когнитивные, эпистемологические (в самом широком смысле) возможности повествования¹¹¹. Повествовательная связность и

N. Literarische Fallgeschichten. Zur Poetik einer epistemologischen Schreibweise. Konstanz, 2016.

¹⁰⁴ Понятия «семиологического» и «нарратологического» дискурсов заимствованы из: Kiceluk S. Der Patient als Zeichen und als Erzählung: Krankheitsbilder, Lebensgeschichten und die erste psychoanalytische Fallgeschichte // *Psyche*. 1993. № 47/9. S. 815–854.

¹⁰⁵ Ibid. S. 817.

¹⁰⁶ Ibid. Теория вырождения не укладывается в схему развития обеих моделей, которые выделяет Стефани Кайслук, а вслед за ней и Михаэла Ральзер (*Ralser M. Der Fall und seine Geschichte. Die klinisch-psychiatrische Fallgeschichte als Narration an der Schwelle // Wissen. Erzählen. Narrative der Humanwissenschaften*. Hg. von A. Höcker. Bielefeld, 2006. S. 115–126): история психиатрии XIX века отнюдь не представляет собой триумфального шествия «семиологического дискурса», а «нарратологический дискурс» утвердился лишь с приходом Адольфа Майера и, прежде всего, Зигмунда Фрейда. Как и у Пинеля (ср.: *Frey. Am Beispiel der Fallgeschichte*. S. 271–272), в теории вырождения семиотический подход оказывается недостаточным: создание как можно более полной картины болезни обязательно дополняется реконструкцией генеалогической истории заболевания. О жанре психиатрической истории болезни см. также: *Steinlechner G. Fallgeschichten*. Krafft-Ebing, Panizza, Freud, Tausk. Wien, 1995; *Zum Fall machen, zum Fall werden. Wissensproduktion und Patientenerfahrung in Medizin und Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts* / Hg. von S. Brändli. Frankfurt a. M.; New York, 2009; *Wübben. Verrückte Sprache; Zelle C. Zur Sachprosa des «Falls»*. Psychiatrische Fallerzählungen um 1850/70 in der «Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie» und im «Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten» // *Fallgeschichten. Text- und Wissensformen exemplarischer Narrative in der Kultur der Moderne* / Hg. von S. Brändli. Würzburg, 2015. S. 47–71.

¹⁰⁷ *Morel. Traité des dégénérescences*. P. 123–127; *Föcking. Pathologia litteralis*. S. 299–305.

¹⁰⁸ По мнению Фёкинга, то обстоятельство, что нарратив относит отправную точку семейного вырождения к эпохе Великой французской революции, может иметь символическую антимодернистскую окраску: *Föcking. Pathologia litteralis*. S. 302.

¹⁰⁹ *Morel. Traité des dégénérescences*. P. 125.

¹¹⁰ *Föcking. Pathologia litteralis*. S. 304.

¹¹¹ Об эпистемологической плодотворности повествования в научном дискурсе см.: *Koschorke A. Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie*. Frankfurt a. M., 2012. S. 328–398. О значении нарративных структур в научном дискурсе см., в частности: *Harré R. Some Narrative Conventions of Scientific Discourse // Narrative in Culture. The Use of Storytelling in the Sciences, Philosophy, and Literature* / Ed. by C. Nash. London; New York, 1990. P. 81–101; *Holmes F. L. Argument and Narrative in Scientific Writing // The Literary Structure of Scientific Argument: Historical Studies* / Ed. by P. Dear. Philadelphia, 1991. P. 164–181; *Clark W. Narratology and the History of Science // Studies in History and Philosophy of Science*. 1995. № 26. P. 1–71;

замкнутость нарратива о вырождении позволяют упростить совокупность патологических явлений, тем самым преодолев их внутренне случайный характер. Уже упомянутые приемы: установление причинных связей путем простого включения различных патологий в нарративную синтагму и завершение нарратива неизбежным концом дегенерации, наступающим на протяжении считанных поколений, – обеспечивают «обнадеживающую» нормализацию патологического, которое тем самым лишается своей хаотической, непостижимой разорванности¹¹².

Однако это обуздание изменчивой природы вырождения становится возможным главным образом благодаря тому обстоятельству, что дегенерация не только удовлетворяет минимальным критериям нарратива, представляя собой репрезентацию цепи событий или «изменение некоей исходной ситуации» во времени¹¹³, но еще и является базовой образцовой схемой, допускающей изложение в бесчисленном множестве вариаций. Дегенерация в качестве *masterplot*¹¹⁴ функционирует как устойчивая когнитивная модель, позволяющая «возводить избыток неупорядоченных эмпирических данных к типическим, легко узнаваемым формам»¹¹⁵ и устанавливать логические связи благодаря одной лишь связности повествования.

Эти свойства нарратива как повествовательной модели особенно важны в трудах В. Маньяна: вследствие осуществленных им расширения и обобщения теории, о которых говорилось выше, появляется минимальный общий знаменатель, позволяющий причислить к проявлениям дегенерации неврозы, психозы и девиантное поведение – «неуравновешенность душевной жизни»¹¹⁶ человека. Уже сама эта дисгармония толкуется Маньяном как «однозначный» симптом состояния, претерпевающего непрерывные превращения: «неустойчивость» характерна как для дегенерата, так и для дегенерации. Теперь принципиальный полиморфизм вырождения выражается уже не в трансформации из поколения в поколение, а в самом индивиду: на разных этапах жизни дегенерация принимает форму различных патологий, представляющих собой «эпизоды» одной и той же «истории»¹¹⁷.

В написанных Маньяном историях болезней дегенерация обеспечивает широкий набор сюжетных вариаций, главная роль в которых принадлежит нестабильности. На уровне симптоматики это проявляется – независимо от конкретной болезни, в которую непосредственно вылилась дегенерация, – в импульсивности, скачкообразном и непредсказуемом характере припадков¹¹⁸. Неуправляемый характер отклонений¹¹⁹, неподвластных воле больного, подразумевает в первую очередь бессмысленность и бесцельность навязчивых действий и идей, представляющих собой напрасную трату энергии¹²⁰. Отсутствие у действий целенаправленности отличает дегенерата от «нормального» человека, способного оптимально распределять свои силы. Дегенерация предстает энтропической, изменчивой силой, внезапные и немотивированные превращения¹²¹ которой составляют полную противоположность процессу постепенного развития, характерному для эпохи прогресса¹²².

Kreiswirth M. Merely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences // *Poetics Today*. 2000. № 21/2. P. 293–318.

¹¹² О нормализующей функции нарратива, основанной на синтагматической причинно-следственной связи и завершенности (*closure*), см.: Abbott H. P. *The Cambridge Introduction to Narrative*. Cambridge, 2002. P. 40–66.

¹¹³ Шмид. Нарратология. С. 13. См. также: Abbott. *The Cambridge Introduction to Narrative*. P. 13.

¹¹⁴ Abbott. *The Cambridge Introduction to Narrative*. P. 47.

¹¹⁵ Koschorke. *Wahrheit und Erfindung*. S. 29.

¹¹⁶ Magnan. *Psychiatriche Vorlesungen*. Bd. 2/3. S. 4.

¹¹⁷ Ibid. S. VIII.

¹¹⁸ «Потребность» или «навязчивое влечение» всегда «непреодолимы», навязчивые мысли возникают «внезапно, без видимого повода». Ibid. S. 18–19.

¹¹⁹ Маньян пишет об одном случае дипсомании: «Стоило этой женщине, столь целомудренной и скромной в промежутках между приступами, начать пить, как она утрачивала всякое самообладание, всякое чувство стыда» (Ibid. S. 82).

¹²⁰ Об одном случае «тиков» и «навязчивых действий» говорится: «С утра до вечера он совершал навязчивые и совершенно бессмысленные движения» (Ibid. S. 20).

¹²¹ Маньян пишет о «дегенеративном помешательстве»: «Вся суть во внезапном возникновении бредовых идей. <...>

Достижение осмысленной связности и «логическое» обуздание этого хаоса первобытных инстинктов становятся возможны исключительно благодаря повествовательной схеме, позволяющей очертить смысловой горизонт путем повторения одного и того же. Почти безграничному разнообразию симптомов противостоит однообразное постоянство накапливающихся историй болезней, похожих между собой с точки зрения семантики, структуры и языка описания. На парадигматическом уровне изображаемые феномены утрачивают свой пугающий полиморфизм в тот момент, когда оказываются истолкованы как симптомы наследственно обусловленного вырождения. На синтагматическом уровне нарративному обузданию дегенерации способствуют повторяющиеся элементы, такие как последовательность структурных сегментов (диагноз, наличие патологий у родителей и других родственников, изображение дегенеративного процесса как цепи синдромов в порядке появления, информация о лечении и указание на дегенеративное потомство) и топосы¹²³. Повторяя одну и ту же (интерпретационную) схему, авторы историй болезней создают нарратив, позволяющий выводить одну и ту же смысловую линию из безграничной референциальности. Примечательно, что эта смысловая линия проявляется также тогда, когда остается невидимой, т. е. в промежутках, когда больной – ввиду скачкообразного течения болезни – кажется нормальным¹²⁴. Дегенерация не исчерпывается патологическими проявлениями. Ее суть неизбежно остается смутной и неуловимой, так как наследуются не те или иные патологии, а само вырождение¹²⁵.

Ввиду своей детерминистской предсказуемости нарратив о вырождении, каким он предстает в написанных Маньяном историях болезней, обладает низким уровнем событийности, так как частые изменения состояния, неожиданные и необъяснимые для самого больного, в глазах психиатра-интерпретатора являются всего лишь этапами одного и того же дегенеративного процесса и, соответственно, не представляют собой существенных перемен. Если обратиться к выдвинутому Вольфом Шмидом понятию события¹²⁶, то можно увидеть, что описанные у Маньяна происшествия не удовлетворяют критериям «непредсказуемости» и «неповторяемости», которые, наряду с другими условиями, определяют уровень событийности того или иного изменения¹²⁷.

Впрочем, тексты о вырождении оказываются бессобытийными и в более широком смысле. Нарратив о вырождении знает лишь одно настоящее событие – начало самой дегенерации, выступающее «скандальным» отклонением от «нормального» человеческого типа, т. е. пересечением антропологической границы. Согласно данному Юрием Лотманом семиотическому определению события¹²⁸, событие (происшествие) – это «значимое уклонение

Формы бывают самые разные: мания, мистицизм, эротизм, мания величия и т. д. <...> Одна форма перетекает в другую; больной, вчера одержимый манией величия, сегодня выказывает бред преследования, а через несколько дней превратится в помешанного ипохондрика» (Ibid. S. 25).

¹²² О связи дегенерации и энтропии см.: Degeneration / Ed. by Chamberlin and Gilman. P. 271–275.

¹²³ Ср., в частности, тоpos проявления симптомов уже в детском возрасте, всегда получающий одну и ту же языковую реализацию (следующие примеры взяты из разных историй болезней): «У него сызмальства имелись странные идеи»; «В воспитательном заведении Жоржетта с ранних лет выделялась своей распушенностью»; «Уже в раннем возрасте у больного проявились некоторые моральные извращения»; «Больной с детства отличался чудаковатостью и суеверностью» (Magnan. Psychiatrie Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 20, 26, 31, 50).

¹²⁴ «При относительно слабой предрасположенности или при особо благоприятных условиях жизни дегенераты могут долгое время внешне ничем не отличаться от здоровых» (Ibid. S. X).

¹²⁵ О вырождении как *self-reproducing force* [самовоспроизводящейся силе] см.: Cartron. Degeneration and «Alienism». P. 159.

¹²⁶ Шмид. Нарратология. С. 13–18.

¹²⁷ О разнице между простым событием, предполагающим только изменение состояния (*event I*), и событием более сложным, удовлетворяющим определенным критериям, например непредвиденности (*event II*), см.: Hühn P. Event and Eventfulness // Handbook of Narratology / Ed. by P. Hühn et al. Berlin; New York, 2009. P. 80–97.

¹²⁸ Hauschild C. Jurij Lotmans semiotischer Ereignisbegriff. Versuch einer Neubewertung // Slavische Erzähltheorie. Russische und tschechische Ansätze / Hg. von W. Schmid. Berlin; New York, 2009. S. 141–186.

от нормы»¹²⁹, «пересечение границы запрета»¹³⁰ между разными семантическими полями. Однако в нарративе о вырождении «трещина» в семейной наследственности фигурирует уже не только как начало рассказа, но и как своего рода протособытие, перемещающее пораженную семью через границу между семантическими полями нормального и патологического¹³¹. Это протособытие, аналептически изложенное в историях болезней, в свою очередь, создает замкнутый космос дегенерации, «запрещающую границу» которого больше нельзя пересечь: протагонисты отдельных историй болезней «рождаются» в предзаданный нарративный мир вырождения, откуда нет выхода. Их метаморфозы вследствие тех или иных новых патологий уже не представляют собой повторного пересечения границы, а лишь подтверждают неизменное как с медицинской, так и с семиотической точки зрения состояние (*état*). Поэтому тексты о вырождении – в терминологии Лотмана – это «бессюжетные» тексты, моделирующие замкнутый мир, незыблемое устройство которого подтверждается снова и снова¹³².

В маньяновских историях болезней может показаться странным тот удивительный факт, что в них отсутствуют существенные составляющие нарратива о вырождении, такие как начало, «трещина» в «семейном организме», а главное – прогрессирующее развитие вырождения, качественное нарастание патологий из поколения в поколение. Скупые упоминания дегенеративных симптомов у родителей¹³³, а иногда даже лишь у более или менее близких родственников обозначают пунктирную линию наследственности, начало которой остается невыясненным, а развитие крайне редко носит прогрессирующий характер; как правило, все патологии рассматриваются как равнозначные¹³⁴. Анализы Маньяна – это портреты единичных, пребывающих в постоянном превращении «нестабильных сущностей», предполагающие, однако не изображающие *incrementum* дегенерации несмотря на необходимость представить «доказательства» вырождения. Однако этот классический *circulus vitiosus* отнюдь не опровергает теорию, а скорее раскрывает сущность дегенерации как (выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии: принципа, предпосланного феноменологическим фактам как условие их возможности, однако при этом недоступного позитивному познанию. Позитивистская наука маскировала эту характерную для эпистемы XIX века апорическую дихотомию эмпирии и глубинной метафизики¹³⁵, стремясь представлять эти трансценденталии как нечто такое, что можно постичь из эмпирического наблюдения явлений.

¹²⁹ Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 14–285. С. 224.

¹³⁰ Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Там же. С. 288–372. С. 339.

¹³¹ При этом вся семья – вместе со своим наследственным материалом – в медицинском и семиотическом смысле выступает в роли «пациента», переживающего изменение состояния.

¹³² О различии между «бессюжетными» и «сюжетными», или «мифологическими», текстами см.: Лотман. Структура художественного текста. С. 226–229; Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и топологии культуры: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. С. 224–242.

¹³³ Подчас эти симптомы граничат с абсурдом, когда речь идет не о болезнях, а о «причудах». Ср., в частности: «Наряду с прочими странностями, отец его имел обыкновение отирать лицо кроличьей шкуркой» (*Magnan*. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 45).

¹³⁴ Это объясняется, в частности, тем фактом, что семейные истории редко охватывают более двух поколений. Напротив, в историях болезней, написанных Морелем, очень важным моментом выступает развитие болезни на протяжении нескольких поколений (*Föcking*. Pathologia litteralis. S. 299–305).

¹³⁵ Фуко. Слова и вещи. С. 269–274.

II.2. Эпическая линейность, разрыв наррации и литературный модернизм. Роман о вырождении

«Примером семейной дегенерации, обнаруживающим влияние теории Мореля, служит цикл романов Золя о Ругон-Маккарах»¹³⁶. Это высказывание Эмиля Крепелина, содержащееся в его новаторском учебнике психиатрии, свидетельствует о сильном взаимопроникновении науки и литературы в дискурсе о вырождении. Конечно, использование художественного романного цикла в качестве иллюстрации морелевского учения не лишено уничижительных коннотаций, поскольку Крепелин отвергал детерминистский «мортализм» и «простую закономерность»¹³⁷ Мореля, выступая за более сложное, менее схематичное понимание механизмов вырождения. Вместе с тем такое соотнесение науки и литературы указывает на принципиальную возможность перевода нарративной модели дегенерации в художественные категории, ставшую основой возникновения романов о вырождении¹³⁸ в европейских литературах конца XIX века¹³⁹. Не в последнюю очередь эта переводимость обеспечивается заключенным в дискурсе о вырождении «колоссальным фикциональным „потенциалом“»¹⁴⁰, который в максимально «эпической» форме раскрывает семейная эпопея Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («*Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire*», 1871–1893), «родоначальница» текстов о вырождении¹⁴¹.

Генеалогический императив¹⁴² семейного романа – т. е. связь линейного повествования с мышлением в категориях причины и следствия, истока и протекания – в романе о вырождении смещается в сторону биологизма под влиянием новейших медико-психиатрических знаний о наследственности и вырождении¹⁴³. Однако роман о вырождении определяется не только на содержательном уровне, т. е. не только как текст о биологически мотивированном семейном упадке. В таком романе наблюдается еще и повествовательный синтаксис, опирающийся на вышеописанные нарративные особенности научной теории вырождения, однако при этом также укорененный в эпистемологической повествовательной системе литературного натурализма. Ведь ранние романы о вырождении – романский цикл Золя и его европейские «послед-

¹³⁶ Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Bd. 1. 8. Aufl. Leipzig, 1909. S. 188.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ У термина «роман о вырождении» (*Degenerationsroman*), который я использую как чисто аналитическую категорию, не слишком славная предыстория: в заключениях, использованных на цензурных процессах рубежа XIX–XX веков против немецких натуралистов (Карла Гауптмана, Оскара Паницы), оно служило пейоративным обозначением литературы натурализма как литературы, созданной авторами-«дегенератами» (Wübben Y. *Verrückte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts*. Konstanz, 2012. S. 184).

¹³⁹ Некоторые произведения, называемые мною романами о вырождении, Каролина Просс (*Pross C. Dekadenz. Studien zu einer großen Erzählung der frühen Moderne*. Göttingen, 2013, особенно S. 74–84) называет «декадентскими романами» (*Dekadenzromane*), выявляя при этом, как и я в случае с романом о вырождении, похожий интердискурсивный контекст возникновения, связанный с соответствующей психиатрической теорией, и похожие художественные структурные элементы. Однако Просс интересует не столько связь между знанием и повествованием, эпистемологией и поэтологией, сколько культурные самоописания немецкой литературы раннего модернизма.

¹⁴⁰ Link-Heer U. Über den Anteil der Fiktionalität an der Psychopathologie des 19. Jahrhunderts // *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*. 1983. № 51/52. S. 280–302. S. 297.

¹⁴¹ Link-Heer U. «Le mal a marché trop vite». Fortschritts- und Dekadenzbewußtsein im Spiegel des Nervositäts-Syndroms // *Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im Europa des 19. Jahrhunderts* / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 45–67. S. 60.

¹⁴² Tobin P. D. *Time and the Novel. The Genealogical Imperative*. Princeton, 1978.

¹⁴³ О «генеалогическом романе» см.: Zucker A. E. *The Genealogical Novel, a New Genre* // *Publications of the Modern Language Association of America*. 1928. № 43. P. 551–560. О взаимосвязи теории наследственности с семейным романом в немецкой литературе рубежа XIX–XX веков с гендерной точки зрения см.: Erhart W. *Familienmänner. Über den literarischen Ursprung moderner Männlichkeit*. München, 2001. S. 101–122; 232–352.

дователи» 1880-х и 1890-х годов – представляют собой как артикуляции, так и конститутивные элементы этой повествовательной системы.

Эпистемологическая повествовательная система натурализма и роман о вырождении

Несмотря на национально-филологическую специфику, в нарративной структуре натуралистических повествовательных произведений можно выделить базовые структурные элементы, играющие важнейшую роль в определении повествовательного синтаксиса романа о вырождении¹⁴⁴. В самом общем смысле литература натурализма моделирует такой художественный мир, в котором воспринимаемая действительность представляет собой лишь уровень манифестации по отношению к изначальному уровню биологического обоснования. Эти произведения исходят из представления о «витальной силе»¹⁴⁵, которая предопределяет все человеческие поступки и порождает среду, «получающую от изначального мира себе на долю временный характер»¹⁴⁶. «Научные» притязания натуралистической литературы состоят в придании этому «изначальному миру» нарративной формы путем причинно-временной линейаризации. Натурализм берет на вооружение такие бионарративы, как наследственность, вырождение или борьба за существование, разработанные тогдашней наукой для концептуализации (опять-таки выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии «жизнь»¹⁴⁷, и организует структуру текста вокруг этой биологически определяемой оси¹⁴⁸.

В результате натуралистический текст расщепляется на разные уровни повествования: основополагающую, однородную базовую схему, воспроизводящую детерминистские «законы природы», – и повествовательный дискурс, раскрывающий многообразные проявления этого фундаментального «закона» на уровне рассказываемой истории¹⁴⁹. Такая базовая структура свойственна и роману о вырождении: в данном случае диахроническая логика дегенеративной наследственности определяет как отбор событийных моментов для создания истории, так и придание им формы линейной временной последовательности, которой – согласно нарратологической модели «нарративного конституирования»¹⁵⁰ – обусловливается трансформация

¹⁴⁴ Трансфилологической, сравнительной точке зрения на натурализм в литературоведении до сих пор уделялось на удивление мало внимания. Kirt R. Komparatistische Naturalismus-Forschung. Eine Standortbestimmung // *Revue luxembourgeoise de littérature générale et comparée*. 1988. P. 85–90. P. 86. Так, бросается в глаза, что те немногочисленные работы, в которых эксплицитно рассматриваются межнациональные литературные отношения, как правило, посвящены исключительно влиянию Золя на другие национальные варианты натурализма: Zola sans frontières. Actes du colloque international de Strasbourg (Mai 1994) / Éd. par A. Dezalay. Strasbourg, 1996; Zola et le texte naturaliste en Europe et aux Amériques: Généricité, intertextualité et influences / Éd. par A. Gural-Migdal. Lewiston, 2006. Подчас попытки концептуального осмысления ограничиваются составлением европейского текстуального канона, в рамках которого вопрос о существующих внутри натурализма связях подразумевает лишь хронологический аспект: Chevrel Y. Probleme einer komparatistischen Literaturgeschichtsschreibung – am Beispiel des Naturalismus in den europäischen Literaturen // *Germanistik und Komparatistik. DFG-Symposion 1993* / Hg. von H. Birus. Stuttgart, 1995. S. 466–480. В сравнительной – правда, ограниченной романскими литературами – перспективе, учитывающей повествовательную технику, натурализм рассматривается в: Anfänge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014.

¹⁴⁵ Stöber Th. Vitalistische Energetik und literarische Transgression im französischen Realismus-Naturalismus. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. Tübingen, 2006. S. 117–148.

¹⁴⁶ Делёз Ж. Кино 1. Образ-движение // Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004. С. 201–146. С. 96.

¹⁴⁷ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 269–271.

¹⁴⁸ Как инсценировка определенной конфигурации знания литература натурализма представляет собой «эпистемологическую метафору», пишет Эльке Кайзер, используя термин Умберто Эко *metafora epistemologica* (Kaiser E. Wissen und Erzählen bei Zola. Wirklichkeitsmodellierung in den Rougon-Macquart. Tübingen, 1990. S. 10–11).

¹⁴⁹ О повествовательной системе натурализма на примере фикционализации «борьбы за существование» в немецкой литературе см.: Stöckmann I. Der Wille zum Willen. Der Naturalismus und die Gründung der literarischen Moderne 1880–1900. Berlin; New York, 2009. S. 41–137.

¹⁵⁰ Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 88–103.

истории в повествование в любом повествовательном произведении. Роман о вырождении превращает аморфную совокупность носящих естественный, инстинктивный характер событий в эпическую смысловую линию, каузальность которой получает статус детерминистской закономерности¹⁵¹.

Такая эпистемологическая базовая структура натуралистических романов о вырождении напоминает уже описанную повествовательную модель дегенерации в психиатрическом дискурсе, которая выполняет структурирующую функцию «усмирения» «буйного» патологического начала и обретает нарративную реализацию в историях болезней (гл. II.1). Однако у романов о вырождении есть и собственное диегетическое измерение, благодаря которому возможно многообразное варьирование нарративной базовой схемы. Этим они отличаются от психиатрических анализов, в которых научная достоверность гарантируется (навязчивым) повторением одной и той же повествовательной схемы. При этом наблюдается широкий спектр повествовательных возможностей, представляющий собой континуум между двумя полюсами: с одной стороны, приверженность эпической линейности закономерным образом приводит *masterplot* вырождения к разрыву наррации, обусловленному редукцией событийности; с другой стороны, роман о вырождении позволяет патологической девиации «просочиться» на поверхность текста, так что инсценировка все более сильных нарративных трансгрессий подрывает замкнутую форму повествовательного образа.

Эпическая линейность и разрыв наррации

Как и в психиатрическом базовом нарративе, в романе о вырождении биологическая граница между нормой и патологией составляет центральную семантическую границу, а именно «трещину» (*fêlure*) в наследственности пораженной семьи. В семейном эпосе Золя функция трещины приписывается нервному расстройству Аделаиды Фук, «прародительницы» Ругон-Маккаров¹⁵². Вместе с тем эта начальная точка дегенерации представляет собой явную нарративную установку, так как с точки зрения науки о наследственности совершенно не очевидно, что «тетя Дида» должна считаться носительницей первого патологического отклонения в семье: еще «ее отец умер в сумасшедшем доме»¹⁵³. Золя не пытается скрыть это противоречие, а скорее отрицает дискретность семьи, моделируя «начало без начала», «становление и гибель под знаком вечного возвращения дикого бытия»¹⁵⁴ жизни, нарративное обуздание которого, перенятое у науки, предстает во всей своей противоречивости¹⁵⁵.

Этой нарративной установкой обусловлена структурная необходимость в романе о вырождении *аналептического повествования*, знакомящего с отправной точкой семейной патологии в интра- или додиегетической форме. Как и в психиатрических историях болезней,

¹⁵¹ Жиль Делёз говорит в этой связи о «великой эпической наследственности»: Делёз Ж. Золя и трещина // Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М., 2011. С. 422–437. С. 426. О преемственности по отношению к натурализму поэтики реализма, которая точно так же стремится свести все многообразие действительности к «базовым структурам», см.: Pross. Dekaden. S. 60–70; Albers I. Sehen und Wissen. Das Photographische im Romanwerk Emile Zolas. München, 2002.

¹⁵² Ср. первый том цикла о Ругон-Маккарах «Карьера Ругонов» («La Fortune des Rougon», 1871). Как и у Мореля (гл. II.1), локализация «трещины» здесь тоже имеет символический аспект, связывающий потомственные семейные патологии с социальной патологичностью современной эпохи, у истоков которой стоят исторические потрясения, в данном случае – Великая французская революция (в 1789 году Аделаида вступает в любовную связь с пьяницей и контрабандистом Жаном Маккаром). Pick D. Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918. Cambridge, 1989. P. 83.

¹⁵³ Золя Э. Карьера Ругонов / Пер. с фр. Е. Александровой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 3. Карьера Ругонов. Добыча. М., 1962. С. 7–344. С. 45. «... le père mourut fou» (Zola É. Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire / Éd. par H. Mitterand. Vol. 1. Paris, 1959. P. 41).

¹⁵⁴ Warning R. Zola als Erzähler // Anfänge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014. S. 29–48. S. 33.

¹⁵⁵ Föcking M. Pathologia litteralis. Erzählte Wissenschaft und wissenschaftliches Erzählen im französischen 19. Jahrhundert. Tübingen, 2002. S. 318–321.

«трещина» выступает *протособытием*, запускающим распространение болезненных отклонений и создающим фиктивный мир, где уже невозможно повторное пересечение границы между нормой и патологией. Поскольку действие романа о вырождении разворачивается согласно детерминистской схеме накопления патологий и прогрессирующей дегенерации, возможность изменения состояния героя-дегенерата оказывается под сомнением. «Перемещение персонажа через границу семантического поля», «значимое уклонение от нормы»¹⁵⁶, в котором Ю. Лотман усматривает суть нарративного события, в тексте о вырождении возможно лишь с оговорками. Прогрессирующее развитие фиктивного мира подразумевает здесь не какие-либо событийные превращения, а лишь постоянное подтверждение биологического порядка вещей. Порядок этот нередко отражается в дихотомической, антагонистической системе персонажей, в рамках которой вырождающимся, слабавольным героям противопоставлены здоровые и деятельные; тем самым оппозиция нормы и патологии приобретает наглядный характер¹⁵⁷.

Поэтому сюжетосложение многих романов о вырождении заключается в парадигматическом нанизывании все более тяжких патологических рецидивов, утрачивающих событийность по мере прогрессирования дегенерации¹⁵⁸. Подобный бессобытийный застой приводит к разрыву нарративной ткани. Отрицательный телеологизм нередко влечет за собой все большее снижение «способности быть рассказанным» (*Erzählbarkeit*), так как каждый новый эпизод растянутой на несколько поколений истории упадка предстает, невзирая на изображение тех или иных событий, повторением одного и того же сюжетного образца. По мере неумолимого развития вырождения фиктивный мир все больше застывает в фаталистической неизменности, о которой можно поведать все меньше и меньше. Этот тип романа о вырождении отказывается от острого сюжетного драматизма в пользу «поэтики повтора»¹⁵⁹, которая описывает жизнь как однообразное, банальное повторение одного и того же, подчеркивая тем самым ее неизменность и предсказуемость. Такова, в частности, структура романов «Западня» («L'Assomoir», 1877) Золя, «Дряхлеющий век» («Naabløse Slægter», 1880/1884) Германа Банга и «Семья Малаволя» («I Malavoglia», 1881) Джованни Верги¹⁶⁰.

Так, внебрачная связь Жервезы Купо с Лантье приводит не к драматическому сюжетному повороту в традиционном смысле, а к «банальному» любовному треугольнику, который, хотя все с ним мирятся, одновременно являет собой очередной этап прогрессирующей, неумолимой деградации героини. Как и натуралистический протагонист в целом, она не сознает безвыходности своего положения и машинально движется навстречу гибели, на которую читателю намекают с самого начала, причем дегенеративный процесс, ведущий к пьянству, одиночеству, психофизическому упадку и отупению, сопровождается все большим измельчанием и запустением жизненного пространства¹⁶¹.

¹⁵⁶ Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 14–285. С. 224.

¹⁵⁷ О такой особой системе персонажей в романе о вырождении, нередко соотносящей с семантически сходным членением пространства, см.: Pross. Dekadenz. S. 133–134. Просс исследует эту структуру на примере романа «Болезнь века» («Die Krankheit des Jahrhunderts», 1887) Макса Нордау.

¹⁵⁸ Об этой сюжетной схеме натурализма см.: Baguley D. Naturalist Fiction: The Entropic Vision. Cambridge, 1990. P. 97–119; о книге Джованни Верги «Мастро дон Джезуальдо» («Mastro Don Gesualdo», 1888) см.: Küpper J. Vergas Antwort auf Zola. «Mastro Don Gesualdo» als «Vollendung» des naturalistischen Projekts // 100 Jahre Rougon-Macquart im Wandel der Rezeptionsgeschichte / Hg. von W. Engler u. a. Tübingen, 1995. S. 109–136. S. 120–121.

¹⁵⁹ «Poétique de la répétition» – термин, который Ив Шеврель употребляет в связи с натурализмом в целом (Chevrel Y. Le Naturalisme. Paris, 1982. P. 118).

¹⁶⁰ Джино Теллини говорит в связи с «Семьей Малаволя» о «механической статичности» (*meccanica staticità*) и «удушающей меланхолии» (*melanconia soffocante*) (Tellini G. Il romanzo italiano dell'Ottocento e Novecento. Milano, 2000. P. 198).

¹⁶¹ В этом опять-таки проявляется определенная цикличность: теснота и бедность комнаты в пансионе, занимаемой Жервезой и Лантье в начале романа, диаметрально отражается в «дыре» – последнем обиталище Жервезы, где она и умирает в одиночестве, забытая всеми. Фаталистическая клаустрофобия натуралистического пространства присутствует в романе с самого начала, ср. предчувствие Жервезы в конце первой главы: «И вот на эту пышущую жаром мостовую ее выбросили одну с двумя малышами; она скользила взглядом по внешним бульварам, влево, вправо, из конца в конец, и в ней поднимался

Аналогичный нарративный телеологизм последовательно проводится и в сербском романе о вырождении «Дурная кровь» («Nečista krv», 1910) Боры Станковича; целенаправленный ход дегенерации выливается в своего рода вечное настоящее, где вырождение предстает длящимся состоянием застоя¹⁶². История материального, социального и физического упадка старинного туркизированного рода, разворачивающаяся в южносербском городе Вране на историческом фоне постепенного ухода Османской империи с Балкан, складывается из нагнетаемого повторения неизменной схемы дегенерации. Параллельно деградации героини, Софки, идет «на спад» и сама повествовательная форма, оборачиваясь разрывом наррации. Это проявляется в изменении соотношения между повествовательным временем и временем повествования, сжатием и растяжением. За кульминационными сценами романа, которые связаны со свадьбой Софки (ритуальное омовение в хаммаме, гротескное церковное венчание и оргиастическое празднество) и которым присуще выраженное нарративное растяжение, следуют все более короткие главы, отмеченные все более сжатым повествованием и все меньшим уровнем событийности, а финальная сцена – в которой отец Софки наносит оскорбление ее сербскому мужу-простолюдину, что и приводит к окончательной катастрофе, – оказывается заметно короче всех предшествующих кульминационных эпизодов. В последних трех главах романа временные координаты растворяются в неопределенном континууме, который соответствует восприятию времени самой Софкой, проводящей дни между буйными выходками мужа и апатией. В последней главе, начинающейся словами «И ничего не происходит»¹⁶³, грамматическое повествовательное время сменяется с прошедшего на аорист, превращая время повествования в вечное настоящее. У ожидания смерти, в котором живет Софка, нет фикционального конца, отчего безысходность ее дегенеративного состояния усиливается еще больше. Похожее сжатие повествовательного темпа наблюдается и в романе «Нильс Луне» («Niels Lyhne», 1880) Йенса Петера Якобсена, причем рассказ о последних событиях в жизни героя: о свадьбе, рождении сына, безвременной кончине жены и ребенка, участии в войне и, наконец, смерти, – становится все более небрежным.

Такой отказ от категории события чрезвычайно важен для русского романа о вырождении и характерен для него с самого начала. Наиболее последовательно этот повествовательный прием воплощен в «Господах Головлевых» (1875–1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина, хронологически первом русском романе о вырождении. Как будет показано в главе II.4, Салтыков-Щедрин моделирует поместье семьи Головлевых как замкнутое, вселяющее чувство клаустрофобии пространство, как застывший мир, где прогрессирующее развитие дегенеративного процесса оборачивается навязчивым повторением одного и того же. Захваченные неудержимым процессом психофизического разложения, символизирующим вымирание целого социального класса – помещного дворянства, Головлевы бессильны изменить свое состояние.

В отличие от редукции событийности во французском натурализме, которую следует рассматривать скорее в контексте флоберовской традиции¹⁶⁴, в романе Салтыкова-Щедрина происходит явный разрыв с русской реалистической традицией событийного повествования. Так, в произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского структурообразующее событие инсценируется как «прозрение» или «просветление», т. е. как «ментальная перипетия, как когнитив-

безмерный ужас, будто отныне вся жизнь ее должна замкнуться здесь – между бойней и больницей» (Золя Э. Западня / Пер. с фр. О. Моисеенко и Е. Шишмаревой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 6. Ругон-Маккары. Западня. М., 1962. С. 39). («C'était sur ce pavé, dans cet air de fournaise, qu'on la jetait toute seule avec les petits; et elle enfila d'un regard les boulevards extérieurs, à droite, à gauche, s'arrêtant aux deux bouts, prise d'une épouvante sourde, comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un abattoir et un hôpital» – Zola. Les Rougon-Macquart. Vol. 2. P. 403.)

¹⁶² Nicolosi R. Unreine Liebe. B. Stankovićs «Nečista krv» als Degenerationsroman // Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert / Hg. von R. Hodel. Frankfurt a. M., 2007. S. 159–176.

¹⁶³ «И ништа се не деси» (Станковић Б. Сабрана дела Борисава Станковића. Кн. 3 (Нечиста крв). Београд, 1970. С. 260).

¹⁶⁴ Warning R. Erzählen im Paradigma. Kontingenzbewältigung und Kontingenzexposition // Romanistisches Jahrbuch. 2001. № 52. S. 176–209.

ный, душевный или нравственный переворот»¹⁶⁵. Отказ Салтыкова-Щедрина как от реалистической модели мира, допускающей способность человека к глубоким внутренним переменам, так и от реалистической поэтики события, в контексте русской литературы оказывается предвосхищением модернистского повествования, возможности которого раскроются сполна лишь в прозе Чехова.

Трансгрессивный нарратив и фрагментарное изображение действительности

Одной из особенностей романа о вырождении является возможность по-разному реализовывать базовую схему predetermined упадка. Некоторые тексты о вырождении облекают ее в форму не вышеописанного нарративного разрыва, а все большего нагромождения трансгрессивных событий, скандальных поступков, обусловленных девиантным поведением ненормального персонажа¹⁶⁶. Впрочем, столь высокая возможность дегенерации раскрываться в повествовании не означает роста уровня событийности, так как – что уже разяснялось – с точки зрения текста в целом подобные трансгрессивные эпизоды, ввиду своей повторяемости и предсказуемости, не влекут за собой событийного изменения состояния персонажей. Ярче всего это протеическое многообразие дегенеративных поступков и персонажей проявляется в цикле «Ругон-Маккары», рисуящем подробнейшую картину вырождения на материале пяти поколений и самых разных патологий. «Дикое бытие»¹⁶⁷ патологического, «бушующее» на микроструктурном уровне отдельных романов, подчинено контролю макроструктурной наследственной линии, занимающей более высокое, аукториальное положение¹⁶⁸.

Проект генеалогического изображения целого наследственного ряда требует гетеродиетического, аукториального рассказчика, который, подобно врачу, распознает и истолковывает проявляющиеся в фиктивном мире признаки вырождения; признаки, которых сами действующие лица обычно не замечают¹⁶⁹. Лишь в последнем романе цикла, «Доктор Паскаль» («Le Docteur Pascal», 1893), эту двойную структуру, складывающуюся из микро- и макроструктурного уровней, нарушает появление персонажа нового типа – врача и исследователя вопросов наследственности Паскаля Ругона, который на правах интрадиетического *porte-parole* аукториального рассказчика¹⁷⁰ обобщает и интерпретирует историю вырождения соб-

¹⁶⁵ Schmid W. Ereignishaftigkeit in den «Brüdern Karamasow» // Dostoevsky Studies, New Series. 2005. № 9. P. 31–44. P. 33. Хрестоматийным примером такого события служит преображение Дмитрия Карамазова, нарушающее своей парадоксальностью границы ожидаемого и предсказуемого.

¹⁶⁶ Warning R. Chronotopik und Heterotopik: Zolas *Rougon-Macquart* // Warning R. Heterotopien als Räume ästhetischer Erfahrung. Paderborn; München, 2009. S. 145–168. Варнинг использует лотмановское понятие «несюжетной коллизии», означающее пересечение нормативной границы вплоть до полного ее стирания, «...» то есть катаклизм, обрушение целого культурного порядка» (Там же. S. 153). Согласно этой интерпретации, романы Золя последовательно разрушают любую форму нормативности, инсценируя катастрофы мифической силы, в которых трансгрессивная вitalность «жизни» ниспровергает какую угодно упорядочивающую структуру. Я же, напротив, подчеркиваю напряжение, возникающее в семейном эпосе Золя между макроструктурной упорядочивающей структурой дегенеративной наследственности и трансгрессивными нарративными эпизодами.

¹⁶⁷ Warning R. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie»: Zolas *Les Rougon-Macquart* // Poetica. 1990. № 22. S. 355–383.

¹⁶⁸ О сложном соотношении структур диахронии и синхронии в романной эпопее Золя и их различных оценках см., в частности: Gumbrecht H. U. Zola im historischen Kontext. Für eine neue Lektüre des Rougon-Macquart-Zyklus. München, 1978. S. 32–33; Föcking. Pathologia litteralis. S. 311–330.

¹⁶⁹ М. Фёкинг усматривает в этом «реинсталляцию трансцендентального субъекта», от которого отказался *roman clinique* (в частности, Флобер) (Там же. S. 322–330). Однако Фёкинг не учитывает того обстоятельства, что макроструктурная аукториальность цикла о Ругон-Маккарах частично нейтрализуется нередким отказом Золя от центральной интерпретирующей точки зрения аукториального рассказчика на микроструктурном уровне отдельных романов, так что голос повествователя сливается с голосами персонажей и «общественным мнением» в несобственно-прямой речи. Это сообщает романам Золя чрезвычайно полифоническую форму.

¹⁷⁰ Речь идет о типе персонажа, характерном для натуралистического романа в целом, т. е. о таком действующем лице, которое выступает авторским рупором, высказывая научные идеи, призванные объяснить происходящее в вымышленном

ственной семьи с научной точки зрения. При этом пятая глава «Доктора Паскаля», где Паскаль Ругон объясняет своей племяннице Клотильде семейную историю Ругон-Маккаров в свете учения о наследственности на основе генеалогического древа и собранных материалов, предстает проявлением принципа *mise en abyme*, который заново раскрывает макроструктурную схему романного цикла с ее функцией глубинной структуры, определяющей всю совокупность разрозненных, по видимости, случайных явлений¹⁷¹.

В романе о вырождении наблюдается взаимодействие между приверженностью традиционной эпической линейности, телеологически заостряемой с позиций биологического детерминизма, и расшатыванием или растворением этой линейности при помощи приемов, предвосхищающих модернистское письмо. Чем больше наррация в романе о вырождении тяготеет к повторам, чем более предсказуемой становится, тем сильнее возрастает и доля описательности: для текста о дегенерации характерно покидать временную ось линейности и углубляться в пространственные меандры фрагментарной действительности, в частности в пространственных описаниях, выступающих – прежде всего у Золя – моделью современного человеческого восприятия как своего рода лабиринта¹⁷².

Это свойство романа о вырождении восходит к особой семиотической практике натурализма в целом. Представляется, что в своей программной установке на миметическую воспроизводимость действительности натурализм радикализирует семиотическую практику реализма в двойном отношении. С одной стороны, он идет еще дальше в типичной для реализма дереференциализации художественного мира¹⁷³, добиваясь «фотографической» иллюзии действительности. С другой стороны, натурализм (в известном смысле вопреки первой тенденции) продолжает реалистическую практику разрушения созданной иллюзии путем «вторжения» в нее реальности – с той, впрочем, разницей, что вторжение это оказывается «скандальным» постольку, поскольку натурализм сознательно стремится к радикальному изображению насилия, сексуальности, нищеты и т. д.

Однако вместе с тем в натуралистическом мимесисе наблюдаются специфически модернистские элементы, разительно отличающие его от мимесиса реалистического. Так, на первый взгляд может показаться, что характерная для натурализма гипертрофия *descriptio*, одерживающего верх над *narratio*, подчеркивает важность внетекстовой референции в сравнении с «романическим» началом. Но *de facto* достигается эффект прямо противоположный, поскольку такая гипертрофированность сообщает описаниям самостоятельный характер, заставляя действительность выглядеть случайным нагромождением атомизированных впечатлений, уже не составляющих целого. Можно было бы даже сказать, что все эти потоки реальных, упоминаемых в описаниях, а прежде всего – в характерных для натурализма каталогообразных перечислениях, кажутся чем-то реальным, чуждым фиктивному миру и в своей (неконвертируемой) настойчивости ставящим под угрозу завершенность аукториальных и эстетических порядков. Однако

мире. *Baguley*. Naturalist Fiction. P. 95; *Kaiser*. Wissen und Erzählen bei Zola. S. 33–34.

¹⁷¹ Pross. Dekadenz. S. 65–66. Behrens R., Guthmüller M. Krankes/gesundes Leben schreiben. Emile Zolas *Le docteur Pascal* im Umgang mit dem Hereditäts- und Lebenswissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts // Krankheit schreiben. Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur / Hg. von Y. Wübben und C. Zelle. Göttingen, 2013. S. 432–457.

¹⁷² Дэвид Багули усматривает динамический аспект натуралистического романа в напряжении, возникающем между «the imperious causality and directionality of the scientific thesis» [властной каузальностью и направленностью научного тезиса], с одной стороны, и «the disruptiveness and fragmentation of the descriptive set» [разорванностью и фрагментарностью описаний] – с другой (*Baguley*. Naturalist Fiction. P. 94). О «несоразмерности» повествования и описания ср. классическую работу Г. Лукача: Лукач Г. Рассказ или описание / Пер. с нем. Н. Волькенау // Литературный критик. 1936. № 8. Впрочем, преобладание описательного начала в произведениях натурализма Лукач рассматривает как проявление упадка, а не как современный литературный прием. К вопросу о притязании Золя на всеохватное изображение действительности см.: *Vinken B.* Zola – alles sehen, alles wissen, alles heilen. Der Fetischismus im Naturalismus // Historische Anthropologie und Literatur. Romanistische Beiträge zu einem neuen Paradigma der Literaturwissenschaft / Hg. von R. Behrens u. a. Würzburg, 1995. S. 215–226.

¹⁷³ Schneider S. Einleitung // Die Dinge und die Zeichen. Dimensionen des Realistischen in der Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts / Hg. von S. Schneider und B. Hunfeld. Würzburg, 2008. S. 11–24.

такому центробежному движению натуралистических текстов противодействует тенденция к пониманию действительности исключительно как проявления глубинной эпистемологической структуры, претворение которой в фиктивный мир, собственно, и составляет основную миметическую операцию натурализма.

Между этими полюсами: приверженностью принципу связного, логичного, осмысленного целого и «упадочным разложением» целостных форм¹⁷⁴; телеологическим повествованием и фрагментарным описанием; неизменной нормой и протеической патологией, – роман о вырождении вырабатывает изобразительные формы, которые ставят его в промежуточное положение между реализмом и модернизмом. Если интерпретировать романы о Ругон-Маккарах как цикл о вырождении, можно увидеть парадоксальный характер литературы натурализма, которая, с одной стороны, кладет в основу наррации научный детерминизм, а с другой – допускает изображение лишь «непосредственных причин»: натуралист, утверждает Золя в статье «Экспериментальный роман» («Le roman expérimental», 1879), ищет ответа на вопрос не о том, «почему» возникает то или иное явление (ответить на который невозможно), а о том, «каким образом» оно непосредственно происходит, т. е. каковы те конкретные условия, при которых возможен определенный феномен в определенной ситуации¹⁷⁵.

Фундаментальная апория позитивизма, пусть и отвергающего метафизические системы, однако в конце концов разработавшего метафизику истории, отражается в натурализме, который создает повествовательные тексты в поле напряжения между трансцендентальным, телеологическим детерминизмом и тенденцией к разрушению этой монокаузальности при помощи хаотичной, фрагментарной картины действительности. Так, умножение числа таких «непосредственных» причин в романе «Западня» приводит к множественной детерминации судьбы Жервезы Купо, чье физическое, психическое и моральное вырождение выступает следствием сразу многих факторов: наследственности (предрасположенности к алкоголизму и к лени по материнской линии); среды в самом широком смысле, т. е. и плохих условий жизни в рабочем квартале, и «общественного мнения», сложившегося о Жервезе у соседей и как будто тоже влияющего на ее поступки; а также социальной дерзости героини, стремящейся выбраться из поставленных рамок жалкого существования.

Отказ Золя от характеристики персонажей путем приписывания им размышлений о своем ненормальном состоянии¹⁷⁶ и его приверженность научно-аукториальной нарративной точке зрения обусловлены среди прочего тем обстоятельством, что цикл о Ругон-Маккарах во многом идет вслед за учением Мореля, сосредоточенным на представителях низших социальных слоев. Лишь в ходе дискурсивной интеграции учения о неврастении в теорию вырож-

¹⁷⁴ О декадентском стиле как процессе разложения целого ср. слова Поля Бурже: «Un style de décadence est celui où l'unité du livre se décompose pour laisser la place à l'indépendance de la page, où la page se décompose pour laisser la place à l'indépendance de la phrase, et la phrase pour laisser la place à l'indépendance du mot» (Bourget P. Charles Baudelaire [1881] // Bourget P. Œuvre Complètes. Vol. 1 (Critique). Paris, 1899. P. 3–20. P. 15–16). Ср. также у Фридриха Ницше: «Чем характеризуется всякий литературный декаданс? Тем, что целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед и затемняет смысл страницы, страница получает жизнь за счет целого – целое уже не является больше целым» (Ницше Ф. Случай «Вагнер» / Пер. с нем. Н. Н. Полилова // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 5: По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Случай «Вагнер». М., 2012. С. 383–422. С. 400. Курсив оригинала).

¹⁷⁵ «... мы никогда не будем знать первопричину вещей – мы будем знать лишь, каким образом происходит явление» (Золя Э. Экспериментальный роман / Пер. с фр. Н. Немчиновой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 24. Из сборников «Что мне ненавистно», «Экспериментальный роман». М., 1966. С. 239–280. С. 255. («... nous ignorerons toujours le pourquoi des choses; nous ne pouvons savoir que le comment» – Zola É. Le roman expérimental // Zola É. Œuvres complètes / Éd. par H. Mitterand. Vol. 10. Paris, 1968. P. 1173–1203. P. 1185). Об экспериментальной поэтике Золя см. главу III.1 этой книги.

¹⁷⁶ В этом отношении ярким исключением выступает Жак Лантье, персонаж романа «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890), где замечания рассказчика о душевной ограниченности Лантье и его неспособности к рефлексии сочетаются с неотличимостью внутреннего монолога героя от несобственно-прямой речи повествования, что позволяет предположить относительное понимание героем своего состояния. О повествовательной перспективации у Золя см.: Kaiser. Wissen und Erzählen bei Zola. S. 25–35.

дения (гл. IV.1) высшие (буржуазные) слои общества тоже становятся протагонистами романов о вырождении: теперь патологическое служит очерчиванию современных характеров, поскольку дегенеративный обладатель расшатанной нервной системы воплощает собой чувствительность модерна¹⁷⁷. При этом повествовательная перспектива – если использовать терминологию Жерара Женетта¹⁷⁸ – сменяется с аукториальной нулевой фокализации на фокализацию внутреннюю: «ненормальная» психика дегенерата становится «героиней» истории, на уровне действия почти лишенной событий¹⁷⁹.

Такое эстетизирующее обращение полюсов «нормы» и «патологии», которое обозначилось в скандинавских романах о вырождении 1880-х годов, в значительной степени характерно для «Будденброков» («Buddenbrooks») Томаса Манна¹⁸⁰. Можно заметить, как по мере развития действия фокус изображения все больше смещается внутрь сознания персонажей, а ненормальные проявления наблюдаются скорее в сфере восприятия и мышления, нежели поступков. Вместе с тем эта беспрецедентная в немецкой литературе психологизация вырождения, финальным аккордом которой становится изображение нервной гиперчувствительности на примере Ганно Будденброка, сопровождается деаукториализацией и умышленно неоднозначной подачей научного знания, лежащего в основе нарратива. Знание это уже не исходит из аукториальной повествовательной инстанции, а содержится в преднамеренно затемненной форме – речь здесь идет о туманной «обреченности упадку» – на уровне персонажей, которые могут лишь строить предположения о применимости интерпретационной схемы нервного вырождения к истории своей семьи¹⁸¹.

Деаукториализация знания и эпистемологическая действенность нарратива. Русский роман о вырождении

Все эти изменения в структуре романа о вырождении, которые в немецкой литературе происходят лишь на рубеже XIX–XX веков, когда натурализм уже начинает уходить в прошлое, с самого начала характерны для соответствующей русской литературной традиции. В этом пункте можно выделить фундаментальную отличительную черту русских текстов о вырождении: характерное для творчества Золя различие между уровнем знания рассказчика или его фиктивного *porte-parole*, с одной стороны, и «уровнем неведения» действующих лиц, с другой стороны, не играет здесь структурообразующей роли. Знание о дегенерации с самого начала выступает составляющей общего знания (*doxa*) художественного мира; иными словами, оно не навязывается этому миру извне аукториальным рассказчиком в качестве непререкаемой модели интерпретации. По этой причине русскому роману о вырождении нередко свойственна персональная повествовательная ситуация; внутренняя фокализация позволяет пред-

¹⁷⁷ Хрестоматийным примером персонажа, у которого духовное совершенствование сопровождается физическим упадком, служит Флорессас дез Эссент из романа Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот» («À rebours», 1884). В самом начале своей «библии декаданса» Гюисманс ссылается в форме экфрасиса на нарратив о вырождении: описание портретной галереи предков выступает наглядной иллюстрацией неуклонного вырождения рода дез Эссентов. Процесс этот предстает энтропическим истощением жизненных сил семьи, выразившимся среди прочего в том, что «мужчины все более утрачивали мужественность» (Гюисманс Ж.-К. Наоборот / Пер. с фр. Е. Л. Кассировой под ред. В. М. Толмачева. М., 2005. С. 9). Однако «Наоборот» нельзя считать романом о вырождении, поскольку обозначенный было нарратив не получает дальнейшего развития: описание причудливого, синестетического восприятия протагониста заменяет собой любую форму повествования, тем самым блокируя нарративное развитие наследственной линии.

¹⁷⁸ Женетт Ж. Повествовательный дискурс / Пер. с фр. Н. Перцова // Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. Т. 2. Фигуры III. М., 1998. С. 60–281. С. 205–212.

¹⁷⁹ Об отношениях обмена и взаимодействия между учением о неврастении и литературой см.: Neurasthenie. Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur / Hg. von M. Bergengruen u. a. Freiburg i. Br., 2010.

¹⁸⁰ Дальнейшие рассуждения о «Будденброках» опираются на работу Просс: Pross. Dekadenz. S. 256–282.

¹⁸¹ Каролина Просс (там же) подчеркивает, как важны для этих попыток интерпретации «записки» или «семейные бумаги», куда Будденброки заносят главные события в истории семьи.

ставить медицинское знание частью ограниченного восприятия персонажей. Так, в романе П. Д. Боборыкина «Из новых» (1887) наследственность и вырождение изображаются и интерпретируются исключительно с точки зрения больной героини (гл. IV.3). В фиктивном мире таких романов медицинское знание циркулирует в неуточненной форме и потому приводит персонажей в *биологически мотивированное смятение*. В «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского (1879–1880) инсценируется зараженный идеями биологизма фиктивный мир, в котором смутное представление о возможной наследственной передаче отцовской «карамазовщины» внушает братьям тревогу, заставляя их сомневаться в свободе собственной воли (гл. III.2). Такая деаукториализация медицинского знания о вырождении характерна и для «Приваловских миллионов» (1883) Д. Н. Мамина-Сибиряка. Как и Достоевский, Мамин-Сибиряк строит романский сюжет на присутствии внутри фикциональной действительности знания о вырождении, которым и пользуются персонажи, плетя интриги вокруг приваловского наследства. Обрекая эти планы на крах, писатель иронизирует над приписываемой нарративу о дегенерации перформативной силой, якобы влияющей на действительность (гл. III.3). Как будет показано, этот особый подход к формированию натуралистического мира выполняет контрдискурсивную функцию: в противоположность русской науке того времени, с энтузиазмом воспринявшей учение о наследственности и дегенерации как инструментарий диагностики проявлений социальной дезинтеграции (гл. IV.1), романы Достоевского и Мамина-Сибиряка разоблачают теорию вырождения как фиктивную, чисто спекулятивную модель интерпретации действительности.

Впрочем, наряду с таким «субверсивным» воплощением повествовательной схемы дегенерации русская литература натурализма – вслед за «Господами Головлевыми» Салтыкова-Щедрина – демонстрирует и «аффирмативную» реализацию нарратива о вырождении, подтверждающую его биологическую оправданность. В таких текстах, как «Из новых» Боборыкина и «Старый сад» (1883) И. И. Ясинского, рассказывается о крахе попыток изгладить биологически-семантическую границу между нормой и патологией, причем понимание патологического черпается из характерного для медицинского дискурса эпохи объединения дегенерации с неврастенией (гл. IV.1). Ясинский моделирует эту биологическую границу как социокультурный рубеж, отделяющий неврастеничные, прозападнически настроенные (петербургские) высшие слои от здоровых, русско-крестьянских нижних. «Слияние» с крестьянской средой, к которому стремится протагонист «Старого сада», можно истолковать как своеобразное выражение нарративной самонадеянности, состоящей в попытке заменить нарратив о вырождении нарративом о возрождении народнического толка. Крах же этих попыток связан среди прочего с критикой идеализации «мужика» и постулата о преодолимости бездны между интеллигенцией и народом, т. е. ключевых пунктов программы русских народников (гл. IV.2).

Похожую форму нарративной дерзости, за которой следует расплата, развивает и Боборыкин в романе «Из новых» (гл. IV.3). Он инсценирует ее как узурпацию власти над нарративом героиней, которая тем самым достигает уровня осознанности и рефлексии, позволяющего составить «конкуренцию» рассказчику в создании истории. Кроме того, бросается в глаза осуществляемая в романе «ремедицинализация» повествовательной модели, т. е. использование медицинского описательного языка в изображении патологических состояний героини, что необычно для ранних русских романов о вырождении. То обстоятельство, что этот опубликованный в 1887 году роман полнее всего отвечает повествовательной схеме дегенерации, объясняется соотношением внутри- и внелитературного распространения в русской культуре соответствующего нарратива. Ведь возникновение первых романов о вырождении стало реакцией на цикл Золя о Ругон-Маккарах, варьированием изначально литературной повествовательной модели, еще до того, как теория вырождения успела утвердиться в русском медицинском дискурсе, а нарратив о вырождении – приобрести статус модели культурной интерпретации. Этим также объясняется многообразие модификаций повествовательной схемы, наблюдающееся в

русских романах о вырождении конца 1870-х – начала 1880-х годов. Боборыкин же пишет свой роман о вырождении в эпоху, когда дегенерация, наследственность и психопатология начинают превращаться в прочные составляющие российского культурного дискурса. Консолидация концепции вырождения как интердискурсивного нарратива делает возможным возвращение к изначальному повествовательному шаблону, перед тем деавтоматизированному в рамках чисто литературного ряда: лишь утверждение нарратива о дегенерации еще и в рядах внелитературных позволяет воспринять его как нечто «новое» и меняет его литературную функцию.

II.3. «On ne lit que vous en Russie». Успех Золя в России

Обзор историко-культурных и историко-литературных предпосылок для появления в конце 1870-х – начале 1880-х годов русского романа о вырождении был бы неполным без изображения интенсивной русской рецепции Золя в 1870-х годах, которое и будет предпринято в дальнейшем. Выше уже говорилось, что роман о вырождении возникает как первая российская формация дискурса о вырождении в теснейшем интертекстуальном взаимодействии с теорией и практикой натурализма в творчестве Золя. Впоследствии рецепция Золя, значение которой для русской литературы невозможно переоценить, оказалась преимущественно забыта. За исключением первопроходческих работ М. К. Клемана¹⁸² и библиографии, составленной Г. И. Лещинской¹⁸³, исследования натурализма в русистике, пусть и не раз затрагивавшие эту тему¹⁸⁴, никогда не были посвящены ей специально – возможно, ввиду постулированной советским литературоведением принципиальной (и априорной) независимости русской литературы от французского натурализма¹⁸⁵.

Популярность Золя в России, на несколько лет опередившая его успех во Франции¹⁸⁶, началась уже в 1872 году, когда переводы отрывков из двух первых романов цикла «Ругон-Маккары»: «Карьера Ругонов» («La Fortune des Rougon», 1871) и «Добыча» («La Curée», 1871) – были напечатаны в петербургском ежемесячнике «Вестник Европы», вслед за чем появились первые хвалебные литературно-критические статьи, в частности за авторством П. Д. Боборыкина, снискавшего себе тем самым репутацию первого русского специалиста по творчеству Золя¹⁸⁷. В 1873-м в шести разных журналах появились переводы романа «Чрево Парижа» («La Ventre de Paris»), который в том же году вышел в виде книги под названием «Брюхо Парижа». Этот роман, а также «Завоевание Плассана» («La Conquête de Plassans»), перевод которого (преимущественно сокращенный) напечатали в 1874 году все ведущие толстые журналы, сделали Золя самым читаемым в России иностранным автором. И. С. Тургенев, лично познакомившийся с Золя еще в 1872 году, писал ему в 1874-м: «On ne lit que vous en Russie»¹⁸⁸. Тургенев как никто другой содействовал раннему успеху Золя в России: живший тогда в Париже русский писатель помог французскому коллеге заключить эксклюзивный договор с либеральным журналом «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича¹⁸⁹, в котором Золя с 1875 по 1880 год ежемесячно публиковал свои «Парижские письма», включая статью об экспериментальном романе (гл. III.1)¹⁹⁰. Кроме того, «Вестник Европы» напечатал переводы нескольких романов

¹⁸² Клеман М. К. Начальный успех Золя в России // Язык и литература. 1930. № 5. С. 271–328; Он же. Э. Золя в России // Литературное наследство. 1932. № 2. С. 235–248.

¹⁸³ Лещинская Г. И. Эмиль Золя. Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке 1865–1974. М., 1975.

¹⁸⁴ В частности, Кирстен Бланк в монографии о Боборыкине: Blanck K. P. D. Boborykin: Studien zur Theorie und Praxis des naturalistischen Romans in Russland. Wiesbaden, 1990. S. 78–94.

¹⁸⁵ Этот пробел в литературоведении лишь частично восполняют работы исследователей-романистов: Gauthier P. E. Zola's Literary Reputation in Russia prior to «L'Assommoir» // The French Review. 1959. № 33/1. P. 37–44; Gourg M. Quelques aspects de la réception des thèses naturalistes en Russie // Les Cahiers Naturalistes. 1991. № 65. P. 25–36.

¹⁸⁶ Лишь в 1877 году, после выхода романа «Западня» («L'Assommoir») и его беспрецедентного коммерческого успеха (к концу 1878 года вышло уже 48-е издание романа), Золя прославился и во Франции.

¹⁸⁷ Боборыкин П. Д. Новые приемы французской беллетристики // Неделя. 3 сентября 1872. См. также воспоминания Боборыкина о знакомстве с Золя в: Боборыкин П. Д. Воспоминания. Т. 2. М., 1965. С. 188–192.

¹⁸⁸ «В России читают только Вас». Цит. по: Gauthier. Zola's Literary Reputation. P. 37.

¹⁸⁹ Договор с «Вестником Европы» обеспечивал Золя стабильный ежемесячный доход в 500 франков, что до успеха «Западни» примерно равнялось его ежемесячному гонорару за ежегодную публикацию двух романов в издательстве «Шарпантье» (Боборыкин П. Д. У романистов (парижские впечатления) // Слово. 1878. № 11. С. 21–31. С. 23).

¹⁹⁰ Речь идет о статьях на самые разные темы: о театральной и культурной критике, о физиологических очерках французской жизни, о литературной критике и теории. О сотрудничестве Золя с «Вестником Европы» см.: Клеман М. К. Эмиль Золя –

из цикла о Ругон-Маккарах еще до того, как французские читатели смогли прочесть их в оригинале¹⁹¹.

Необычайный успех Золя в России 1870-х годов объясняется прежде всего первоначальным убеждением левой (петербургской) интеллигенции, что в его лице она открыла социально-критического писателя. Интерес критиков и рецензентов распространялся прежде всего на политические и социальные моменты в произведениях Золя, тогда как аспекты физиологические и патологические почти не находили отклика: примечательно, что в переводах – как правило, значительно сокращенных – аспекты эти и вовсе опускались наряду с любовными линиями¹⁹². Так, анонимный рецензент журнала «Дело» увидел в романе «*Le Ventre de Paris*» ««...» изображение самодовольной буржуазии, созданной декабрьской империей и думающей только о своем брюхе»¹⁹³. В предисловии к переводу этого романа, вышедшему в «Отечественных записках», Алексей Плещеев завершает характеристику Золя сравнением с Бальзаком, подчеркивая принципиальную разницу политических позиций двух авторов:

Упомянувши о сходстве между Бальзаком и Золя, мы должны прибавить, что последний чужд того политического индифферентизма, которым отличался автор человеческой комедии. Он республиканец по убеждениям, и симпатии его всецело принадлежат народу <...>¹⁹⁴.

Подчеркнутое внимание к социально-политическим аспектам романов Золя сопровождается игнорированием их биологической составляющей, которой русская критика поначалу или не уделяет никакого внимания, или дает отрицательную оценку¹⁹⁵.

Однако в последующие годы ситуация меняется, и на первый план выдвигается обсуждение биологических моментов в творчестве Золя. При этом научную программу цикла о Ругон-Маккарах, заключающуюся в исследовании законов наследственности, оценивают по-разному. Если консервативный критик Е. М. Феокистов обличает «шарлатанизм» Золя, якобы пропагандирующего «неясную теорию какого-то беллетристического дарвинизма»¹⁹⁶, которую

сотрудник «Вестника Европы» // Клеман М. К. Эмиль Золя. Сборник статей. Л., 1934. С. 266–304. О «Парижских письмах» см.: Duncan P. A. The Fortunes of Zola's *Parizskie Pis'ma* in Russia // The Slavic and East European Journal. 1959. № 3/2. P. 107–121.

¹⁹¹ Речь идет о романах «Проступок аббата Муре» («*La Faute de l'abbé Mouret*», 1875), «Его превосходительство Эжен Ругон» («*Son Excellence Eugène Rougon*», 1876) и «Дамское счастье» («*Au bonheur des dames*», 1883) (Клеман. Э. Золя в России. С. 235). Поскольку авторское право в то время не распространялось на переводы, Стасюлевич, желая оставаться первым издателем романов Золя в России, вынужден был заказывать переводы с еще не опубликованных рукописей.

¹⁹² Клеман. Начальный успех Золя в России. С. 286–287. В одной из первых статей о Золя, напечатанной в «Вестнике Европы» в 1872 году, В. Чуйко оправдывает эту переводческую практику так: «Вестник Европы останавливается в сокращенном переводе по преимуществу на политической задаче романа, оставляя почти в стороне физиологическую и патологическую, так сказать, точку зрения, которая, несмотря на свою оригинальность и интерес, выполнена в романе гораздо менее удачно». Цит. по: Там же. С. 286. Подобную стратегию перевода отстаивали и консервативные критики, в частности Е. М. Феокистов, писавший по поводу собственного сокращенного переложения романа «*Le Ventre de Paris*»: «Мы не будем излагать здесь романтическую интригу этого произведения. Мы последуем за автором только там, где он изображает и анализирует общественные элементы <...>» (Феокистов Е. М. [V. W.] Нравы и литература во Франции // Русский вестник. 1873. № 11. С. 221–261; № 12. С. 550–591. С. 572).

¹⁹³ Цит. по: Клеман. Начальный успех Золя в России. С. 287.

¹⁹⁴ Плещеев А. Иностранная литература. «Брюхо Парижа» (*Le Ventre de Paris*) роман Эмиля Золя 1873 // Отечественные записки. 1873. № 7. С. 27–81. Здесь: с. 32. Опубликованный в «Отечественных записках» сокращенный перевод «*Le Ventre de Paris*» важен для уяснения влияния, оказанного такой переводческой практикой на восприятие текстов Золя как социально-критических романов. В переводе эпизоды истории Флорана излагаются в хронологической последовательности, т. е. столь важное в романе переключение между разными временными уровнями повествования отсутствует. Если роман начинается с прибытия Флорана в Париж после бегства из Кайенны, причем история его политической ссылки рассказывается лишь впоследствии и в самых общих чертах, – ей отводится скорее второстепенное место в романе, сосредоточенном на описании кипучей рыночной жизни, – то русский перевод начинает историю с самого начала, первым делом подробно рассказывая о политическом прошлом Флорана и тем самым превращая его в убежденного борца. Сюжет романа передается в высшей степени избирательно и полностью очищается от пространных описательных пассажей, составляющих всю прелесть оригинала.

¹⁹⁵ Клеман. Начальный успех Золя в России. С. 310–311.

¹⁹⁶ Феокистов. Нравы и литература во Франции. С. 223.

петербургская критика приняла за чистую монету¹⁹⁷, то П. Д. Боборыкин оценивает концепцию научно обоснованной прозы Золя по большей части положительно, считая описанное в повествовательной форме вырождение главной темой всего цикла. В своей третьей лекции о «реальном романе во Франции», посвященной Золя, Боборыкин рисует перед русской публикой биобиблиографический портрет французского натуралиста, свидетельствующий о глубоком знании его творчества¹⁹⁸. При этом русский писатель считает вырождение «тайной темой» Золя, акцентируя эту мысль в связи с «научно-художественной программой»¹⁹⁹ цикла о Ругон-Маккарах:

Золя задумал взять первое попавшееся семейство – полубуржуазное, полупростонародное, сложившееся в провинции, и проследить его физиологическое, общественное и нравственное развитие за целый период новейшей французской истории, заканчивающейся нашими днями. <...> В семействе Ругоны-Маккар, как показывает самое их двойное прозвище, текут, так сказать, два потока крови, производящих в отпрысках этой фамилии два разряда организмов: один более жизненный, сохранивший основу народного темперамента, другой уже заключающий в себе тайное худосочие, уже в корне подверженный порче, которая сказывается в различных видах вырождения. Вот это слово «вырождение» и составляет тайную мысль, тайную тему автора²⁰⁰.

При этом Боборыкин подчеркивает, что программа Золя, пусть и обнаруживающая некоторую «преднамеренность», не дает оснований говорить об «априорическом положении», предопределяющем ответ на поставленные вопросы, поскольку цикл романов еще не завершен²⁰¹. При дальнейшем обсуждении первых пяти романов цикла Боборыкин раз за разом указывает на развитие макроструктурной, научной смысловой линии, которой и приписывает основное значение²⁰². Такое подчеркнутое внимание к научно-экспериментальному аспекту цикла о Ругон-Маккарах знаменательно еще и потому, что к выдвинутой Золя концепции литературы как анализа физиологических процессов Боборыкин относился, как явствует из его критических замечаний по поводу раннего произведения Золя «Тереза Ракен» («Thérèse Raquin», 1867), не слишком сочувственно²⁰³. В собственном литературном творчестве Боборыкин опирается на модель Золя, однако видоизменяет ее, создавая собственную форму биологического повествования (гл. IV.3)²⁰⁴.

Из опубликованной в 1877 году статьи Н. К. Михайловского видно, что споры о попытках французского писателя подвести под литературу научный фундамент велись еще до выхода эссе Золя об экспериментальном романе²⁰⁵. В этой статье Михайловский, соредактор близ-

¹⁹⁷ Там же. С. 238–239. Вплоть до начала 1880-х годов московская критика упрекала либеральную петербургскую печать в неограниченной поддержке Золя, для чего придумала уничижительный термин «золаизм». См., в частности: *Темлинский С. Золаизм. Критический этюд*. М., 1881. Преимущественно критическое отношение к Золя петербургской критики после 1875 года позволяет утверждать, что само имя писателя стало предметом идеологической войны между русскими журналами, имевшей мало отношения собственно к его творчеству.

¹⁹⁸ Боборыкин П. Д. Реальный роман во Франции. Чтение третье // Отечественные записки. 1876. № 7. С. 63–92.

¹⁹⁹ Там же. С. 74.

²⁰⁰ Там же.

²⁰¹ Боборыкин П. Д. Реальный роман во Франции. С. 74.

²⁰² Там же. С. 83, 86.

²⁰³ «Главная ошибка таких романов, как „Тереза Ракен“, заключается именно в исключительно физиологической цели автора. <...> настоящий предмет литературного творчества есть человеческая психология, а не физиология <...>» (Там же. С. 71).

²⁰⁴ В своем позднейшем сочинении «Европейский роман в XIX столетии» (1900) Боборыкин отмежевывается от экспериментальной модели с литературно-теоретической точки зрения и выступает против абсолютизации теории наследственности как повествовательной смысловой линии (Blanck. P. D. Boborykin. S. 90).

²⁰⁵ О восприятии теории экспериментального романа Золя в России см. главу III.1 этой книги.

кого к идеологии народничества журнала «Отечественные записки» и один из влиятельнейших литературных критиков своего времени, рецензирует сборник успевших на тот момент выйти «Парижских писем», в которых Золя представил русским читателям свой литературный метод. В отличие от Боборыкина, Михайловский не поддерживает аналогию, которую Золя проводил между романистами и ставящими эксперименты химиками или естествоиспытателями; не поддерживает по двум причинам. Во-первых, натуралисты не могут объяснить суть своего метода, якобы научного²⁰⁶; во-вторых, литературе как таковой в целом чужда научная точность. Поэтому программа Золя, предполагающая фотографически точное воспроизведение действительности при отказе от субъективной авторской позиции кажется Михайловскому «дикой и нелепой»²⁰⁷:

У писателей нет уверенности математиков. <...> В литературе есть всегда место сомнению. <...> Надо, следовательно, ввести человеческий элемент, который сразу расширяет задачу и делает решения столь же разнообразными, столь же бесчисленными, сколь разнообразны умы людей²⁰⁸.

При этом Михайловский обращается к критике, которую Золя высказывает в «Парижских письмах» в адрес романтиков Виктора Гюго и Жорж Санд, чтобы использовать ее против самого Золя. По мнению Михайловского, литература романтизма способна осуществить то, в чем и заключается главная задача литературы: создать систему моральных и политических идеалов. А возможно это прежде всего благодаря «вмешательству» автора с его идеологическими воззрениями в рассказываемую историю²⁰⁹. Желая пояснить свою мысль, Михайловский прибегает к сравнению. Если бы перед «реалистами»²¹⁰ и «романтиками» поставили задачу написать историю на одну и ту же тему, например изобразить «мученика свободы в тюрьме», то реалисты тщательно изучили бы историческую эпоху, в которую жил этот борец за свободу, и подробно описали бы камеру и самого узника, однако не смогли бы заглянуть в его душу и передать ту «высшую Правду», ради которой он сидит за решеткой, будучи бес- сильны постичь его идеал свободы. Романтики же, напротив, превратили бы эту картину в «нечто глубоко потрясающее», что позволило бы читателю проникнуться чувствами борца за свободу и понять правду, ради которой тот сидит в тюрьме²¹¹. С этой точки зрения, заключает Михайловский, именно Гюго и Санд, а вовсе не Золя или братья Гонкуры являются настоящими «химиками» человеческой психики²¹².

²⁰⁶ «Какую же это науку возделывают французские романисты? В чем состоят их приемы исследования? Как производится наблюдение и „анализ“? Никаких ответов на эти вопросы Золя не дает» (*Михайловский Н. К. Письма о правде и неправде. II // Отечественные записки. 1877. № 12. С. 309–334. С. 324*).

²⁰⁷ Там же.

²⁰⁸ Там же. С. 326–327.

²⁰⁹ Упрекать писателя в этической индифферентности, якобы снижающей социальную и эстетическую ценность литературного произведения, к началу 1880-х годов становится общим местом в критике Золя на страницах «Отечественных записок». См.: *Вильчинский В. П. Русская критика 1880-х годов в борьбе с натурализмом // Русская литература. 1974. № 4. С. 78–89. С. 80–81*.

²¹⁰ Под «реалистами» Михайловский подразумевает французских натуралистов, что соответствует словоупотреблению, принятому в тогдашней русской литературной критике, называвшей натурализм Золя «реалистическим методом» или «реализмом».

²¹¹ «Представьте себе, например, какого-нибудь знаменитого мученика свободы в тюрьме. Представьте, что эта тема задана реалистам Гонкурам или Золя и романтикам Виктору Гюго и Жорж Занду. Реалист убьет много времени и труда на исследование эпохи, в которую жил мученик, изобразит с фотографической точностью решетку у окна, ложе мученика, какую-нибудь разбитую посудину, в которой ему поставлена вода, и проч. <...> Но сумеют ли они заглянуть в душу мученика и проследить в ней перемены и отражение высшей Правды, ради которой он сидит за решеткой? <...> Человек, не дорожащий идеей свободы, политический индифферент никоим образом не может быть настоящим хозяином в душе мученика за свободу. <...> Работа Жорж Занда и Виктора Гюго будет иная. <...> они сделают или по крайней мере могут сделать из этой картины нечто глубоко потрясающее, что расшевелит в вас хоть малый отклик тех самых чувств, той самой Правды, которая привела мученика в тюрьму» (*Михайловский. Письма о правде и неправде. II. С. 328–329*).

²¹² Там же. С. 330.

Текст Михайловского отмечает поворотную точку в восприятии Золя русской левой интеллигенцией, которая теперь все более отрицательно оценивает теоретические положения и романы Золя. Слава Золя (ничем не подкреплённая) как социально-критического писателя меркнет; радикальные критики обнаруживают в его творчестве все больше «цинизма» и «порнографии»²¹³. Критическое отношение Золя к «романтикам» Виктору Гюго и Жорж Санд, которых он называет «идеалистами» в негативном смысле и которым противопоставляет новое, объективное искусство натурализма, не находит поддержки в радикальной печати, считавшей Гюго и Санд прогрессивными авторами огромного значения²¹⁴. Помимо Михайловского статья на защиту французских романтиков спешит и другой авторитетный критик из «Отечественных записок», А. М. Скабичевский, посвящающий им обширную статью, цель которой, согласно настойчивому заявлению автора, заключается в «восстановлении истины»²¹⁵. Скабичевский подчеркивает, что для русской литературы романное творчество Золя не несет в себе ничего нового, даже напротив, является чем-то устаревшим и пройденным, так как фотографический реализм натуральной школы 1840-х годов уже успел отвергнуть сам Белинский, на первых порах его приветствовавший²¹⁶.

Из воссозданной здесь картины рецепции Золя в России видно: с натурализмом, освоившим повествовательный потенциал теории наследственности и вырождения, в России ознакомились рано и вдумчиво. Было бы опрометчиво отрицать важность биологических повествовательных схем в русской литературе той эпохи лишь на том основании, что русская литературная критика оценила их по большей части отрицательно. Как будет показано в дальнейшем, критическое отношение к французскому натурализму, которое можно обнаружить у Салтыкова-Щедрина и у Достоевского, отнюдь не противоречит литературной практике освоения и развития присущих роману о вырождении структурных и тематических особенностей. (Салтыков-Щедрин даже намеренно заостряет литературные приемы натурализма.) Открытая преемственность по отношению к семейной эпопее Золя у Мамина-Сибиряка (гл. III.3) парадоксальным образом приводит к тому, что нарратив дегенерации – при сохранении повествовательной структуры романа о вырождении – оборачивается семиотическим зиянием. Повествовательная схема вырождения не только присутствует в русской литературе 1880-х годов, но и допускает сложные вариации (заслуживающие среди прочего внимания в сравнении с западноевропейской литературой).

²¹³ После выхода романа «Нана» («Nana», 1880) в радикальной прессе множатся статьи, обличающие «опасное» распространение в России «порнографических» романов Золя и его русских подражателей. См., в частности, острокритическую статью Л. И. Мечникова, направленную против того, что он называет «Нана-турализмом»: Мечников Л. И. [В. Басардин] Новейший «Нана-турализм» // Дело. 1880. № 3. С. 36–65; № 4. С. 71–107. Ср. также общую рецензию Михайловского на художественные произведения русской литературы, относимые им к «порнографической» традиции Золя: «Краденое счастье» В. И. Немировича-Данченко, рассказы Маститого Беллетриста (В. П. Буренина) и «Содом» Н. Морского (Н. К. Лебедева) (Михайловский Н. К. Записки современника. IV: О порнографии // Отечественные записки. 1881. № 5. С. 109–122). См. также благожелательный (на удивление) отзыв П. В. Засодимского о «Нана» в народническом печатном органе «Русское богатство»: Засодимский П. В. Красивое животное (по поводу «Нана») // Русское богатство. 1882. № 1. С. 1–34.

²¹⁴ Gauthier. Zola's Literary Reputation in Russia. P. 42–43.

²¹⁵ Скабичевский А. М. Французские романтики (историко-литературные очерки) // Отечественные записки. 1880. № 1. С. 81–114. С. 87.

²¹⁶ Там же. С. 85. До этого в подобном ключе высказывался и Михайловский: «Мы, русские, так давно имеем свою „натуральную школу“ и свой „реальный роман“ <...> что не получаем ничего нового в эстетических и критических принципах Золя» (Михайловский. Письма о правде и неправде. С. 321). Приравнивая французский натурализм к натуральной школе (и тем самым нарочно вводя читателей в заблуждение), Михайловский и Скабичевский стремятся заставить русскую публику видеть в творчестве Золя устаревший пройденный этап.

II.4. Вырождение как нарративный застой. «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина

В романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875–1880), первом русском романе о вырождении, переплелись две разные литературные традиции: русского романа-хроники, представленной в первую очередь «Захудалым родом» (1874) Н. С. Лескова, и натуралистического романа о вырождении. Из объединения двух этих форм генеалогического повествования возникает мир, охваченный неумолимо прогрессирующим дегенеративным процессом и вместе с тем клаустрофобическим оцепенением. Как будет показано ниже, Салтыков-Щедрин гипертрофирует литературные приемы натурализма до такой степени, что нарратив о вырождении оборачивается навязчивым повторением одной и той же структуры, заранее определенной и проникнутой фаталистическим чувством неизбежности. Разоблачаемый в романе выхолощенный, оторванный от жизни язык симулякров, на котором говорят персонажи, безуспешно стремится замаскировать реальность всеобъемлющего вырождения, пораженного Головлево. Важнейшую роль в болезненно тесном головлевском мире играет особая форма интимности, характерная для натурализма в целом; ее можно назвать «принудительной близостью». Здесь не остается места чередованию близости и отстранения, этой неотъемлемой составляющей нормальных близких отношений; внутрисемейная близость преимущественно сводится к вынужденному сосуществованию бок о бок. Сравнительный анализ близости в «Господах Головлевых» и раннем произведении Золя «Тереза Ракен» («Thérèse Raquin», 1867), где такая форма интимности представлена особенно ярко, позволяет выявить тот факт, что герои романа о вырождении обладают лишь ограниченной возможностью действовать и вносить в существующую ситуацию изменения, наделенные событийным статусом.

Кроме того, в «Господах Головлевых» происходит заметное отступление от натуралистической поэтики, проявляющееся в углублении психологии персонажей, начинающих сознавать свою принадлежность к вырождающемуся роду. Психологизм в изображении героев, по мере развития дегенеративного процесса все больше постигающих всю изолганность своей жизни, составляет удивительную, хотя и неоднозначную противоположность гнетущей безысходности неукротимого психического, физического и морального вырождения, определяющего прежде всего близкородственные, семейные отношения. Вместе с тем, как будет показано, такое постижение истинной сути своей жизни, невзирая на сходство с классическим событием в литературе реализма, обладает лишь весьма относительным уровнем событийности: тенденция к бессюжетности, характерная для многих романов о вырождении, в «Господах Головлевых» достигает высшей точки.

Упадок помещного дворянства и семейная хроника (Лесков)

Развитию романа о вырождении в русской литературе способствовала не только ранняя и интенсивная рецепция Золя (гл. II.3), но и преемственность первого такого русского романа, «Господ Головлевых», по отношению к отечественной литературной традиции семейной хроники. В этом контексте особенно важную роль сыграл «Захудалый род» Н. С. Лескова – непосредственный претекст романа Салтыкова-Щедрина²¹⁷. Не прибегая к медицинской тематике натуралистического типа, лесковский роман обнаруживает повествовательную схему генеа-

²¹⁷ Лесков написал свою семейную хронику в 1873 году; в 1874 году ее напечатал, подвергнув значительной редакторской правке, «Русский вестник». Отдельным изданием «Захудалый род» вышел в 1875 году. В 1890 году Лесков переработал хронику, первоначально остававшуюся незавершенной, для собрания своих сочинений, снабдив ее заключительной главой.

логического «захудания», предвосхищающую некоторые приемы, свойственные и «Господам Головлевым».

Если романы С. Т. Аксакова – «Семейная хроника» (1856) и продолжающие ее «Детские годы Багрова-внука» (1858) – положили начало традиции романа-хроники, изображающей жизнь помещичьего семейства на протяжении нескольких поколений, то Лесков вводит в этот жанр мотив упадка дворянского рода²¹⁸. Восходящей генеалогической линии Багровых, почти сплошь состоящей из светлых эпизодов (рождений, свадеб, идиллических и радостных сцен), Лесков противопоставляет череду поколений, нисходящий характер которой явствует уже из названия. Паратекстуальные элементы хроники – заглавие и эпиграф – выполняют важную пролептическую функцию в сюжетосложении, с самого начала указывая на тему упадка в истории Протозановых. В заглавии род назван «захудалым», а эпиграф – «Род проходит и род приходит, земля же вовек пребывает (Екклес. I, 4)»²¹⁹ – отсылает к вечному круговороту жизни и смерти, не делающему исключения и для знатных родов, тоже обреченных угаснуть. Важна роль пролеписа и в основном тексте. Княжна В. П. Протозанова, от лица которой ведется рассказ, внучка главной героини романа – княгини Варвары Никаноровны, описывает события семейной истории уже из более позднего времени, и, следовательно, обладает знаниями об истории рода, сообщаемыми читателю в «аукториальных» вставках:

[Патрикей] был читатель высоко им ценимой доблести рода, постепенное, но роковое исчезновение которой ему суждено было видеть во всеобщей захудалости потомков его влиятельной и пышной княгини. <...> Это был один из тех тяжелых и ужасных случаев, с которыми в позднейшую эпоху не только ознакомилось, но почти не расставалось наше семейство²²⁰.

Подобные пролептические элементы позволяют проложить сквозь отдельные эпизоды семейной истории, по большей части напоминающие анекдоты, связную смысловую линию и, соответственно, представить их звеньями роковой цепи, неизбежно ведущей к упадку.

Героиня хроники, княгиня Варвара Никаноровна, сознает власть «рока» и безропотно ей поддается. Однако речь идет не о биологическом детерминизме, а о «закономерном» чередовании счастья и несчастья:

Словом, все было хорошо, но во всем этом счастье и удачах бабушка Варвара Никаноровна все-таки не находила покоя: ее мучили предчувствия, что вслед за всем этим недалеке идет беда, в которой должна быть испытана ее сила и терпение. Предчувствие это, перешедшее у нее в какую-то глубокую уверенность, ее не обмануло: одновременно с тем, как благополучным течением катилось ее для многих завидное житье, тем же течением наплывал на нее и Поликратов перстень²²¹.

Предчувствие «наплывающего» «Поликрата перстня» заставляет княгиню оставить все общественные дела в Петербурге и уехать в Протозаново, где она поселяется затворницей в усадебном уединении; это предчувствие особенно крепнет после гибели в бою ее мужа, которого буквально преследовали несчастья. Мотив судьбы как не зависящей от человека причины семейного «захудания», присутствующий и у Щедрина, в «Господах Головлевых» сочетается

²¹⁸ Этот мотив наметил еще Тургенев в «Дворянском гнезде» (1859), в котором необычно много места уделено семейной истории Лаврецких. Однако здесь нравственному упадку семьи, вызванному «нерусским» влиянием, противопоставит русско-крестьянская, «здоровая» натура героя, Федора Лаврецкого, унаследованная им от крестьянки-матери.

²¹⁹ Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 11 т. Т. 5: Захудалый род. Семейная хроника князей Протозановых [Из записок княжны В. Д. П.]. М., 1957. С. 5.

²²⁰ Там же. С. 61, 70.

²²¹ Лесков Н. С. Собрание сочинений. Т. 5. С. 12.

с патологизацией упадочных явлений, что придает истории вымирания рода оттенок прогрессирующей психофизической деградации.

Впрочем, этой предугаданной, предвосхищаемой в пролептических вставках целенаправленности семейного угасания в «Захудалом роде» соответствует не однозначная нисходящая линия развития, а «сложное переплетение разных процессов»²²², среди которых встречаются и взлеты. Так, после смерти мужа княгиня становится богатейшей женщиной губернии. В ее лице род Протозановых переживает свой последний расцвет; утратившая общественное влияние княгиня отличается духовным совершенством и нравственной чистотой. Героиня воплощает в себе высшие достоинства помещичьего сословия, находившегося на тот момент (по мнению Лескова) в процессе неудержимого разложения, олицетворяемого в романе реакционной фигурой графа Функендорфа. Деградация Головлевых у Салтыкова-Щедрина тоже имеет исторический аспект, символизируя разложение целого социального класса, утратившего право на существование. Однако от лесковского произведения веет ностальгией, чего никак нельзя сказать о щедринском романе.

Временная структура романа обнаруживает похожее наложение разнонаправленных векторов движения. Телеологической природе нарратива об упадке противопоставляется понимание времени как «возвращения одного и того же», или «чистого настоящего»:

Нередко то или иное событие не встраивается во временную цепочку, сохраняя обособленный, хронологически неопределенный характер. Такие вневременные островки очень типичны и уже в силу самой этой типичности неуловимы для временной фиксации, поскольку сама их суть заключается в длительности или повторении. Время переживается не как изменение, а как повторение одного и того же. Ход времени кажется упраздненным из-за того, что события не следуют одно за другим частой вереницей, не теснятся, подталкивая друг друга, а невозмутимо, безмятежно покоятся во всем богатстве подробностей и конкретной полноте. В результате рождается чистое настоящее, «неподвижное» время, длящееся почти по-гомеровски²²³.

Отказ от поступательного течения времени ярче всего проявляется в первой части романа, события которой разворачиваются в замкнутом мире имения Протозаново. Пространственно-временные координаты теряются в вечном «здесь-и-сейчас» идиллического, «органического»²²⁴ микрокосма, а действие развивается скорее скачкообразно, нежели линейно благодаря ритмичному, повторяющемуся характеру эпизодов, рисующих портреты отдельных действующих лиц.

Такие повторяющиеся элементы действия, превращающие повествовательную целенаправленность и прогрессирующий упадок в вечное повторение, вполне типичны для романа о вырождении (гл. II.2). Поэтому в семейном романе «Господа Головлевы» Салтыков-Щедрин опирается на обе традиции, рисуя гибель помещичьего рода стилистическими средствами как русского романа-хроники, так и французского натуралистического романа о вырождении. При этом нарратив о вырождении позволяет писателю создать модель нарративного застоя, застывшего мира, где, однако, безудержно прогрессирует гибельный процесс психофизической деградации²²⁵. Таким образом, Салтыков-Щедрин создает образцовую картину упадка целого соци-

²²² Zelinsky B. Roman und Romanchronik. Strukturuntersuchungen zur Erzählkunst Nikolaj Leskovs. Köln; Wien, 1970. S. 259.

²²³ Ibid. S. 273.

²²⁴ Об «органическом мировоззрении» Лескова ср.: Sperrle I. Ch. The Organic Worldview of Nikolai Leskov. Evanston, 2002.

²²⁵ Поэтику «нарративного застоя, бессюжетности» разрабатывает также И. А. Гончаров в романе «Обломов» (1859), во многих отношениях предвосхитившем структурные особенности романа о вырождении. В «Обломове» тоже изображен «процесс умирания, начинающийся с первого мгновения жизни и подспудно тянущийся как „болезнь к смерти“» (Hansen-Löve A. A. Grundzüge einer Thanatopoetik. Russische Beispiele von Puškin bis Čechov // Thanatologien – Thanatopoetik. Der Tod des Dichters – Dichter des Todes / Hg. von A. A. Hansen-Löve u. a. München, 2007. S. 7–78. S. 54). Изображение жизни в Обломове

ального класса при помощи новых изобразительных средств, с поэтологической точки зрения выделяющих роман из тогдашней социально-критической литературы о «помещиках» как о преодоленном общественном институте (С. Н. Терпигорев, А. И. Эртель и др.)²²⁶

в главе «Сон Обломова», с ее клаустрофобической атмосферой бессобытийной неподвижности и абсолютного настоящего при постоянном использовании метафор смерти, в интертекстуальном отношении особенно близко к картине головлевского мира. Об образе Обломова и его связи с картиной болезни ипохондрика см.: *Merten S. Die Entstehung des Realismus aus der Poetik der Medizin*. Wiesbaden, 2003. S. 275–302.

²²⁶ Ср., в частности, роман С. Н. Терпигорева «Оскудение» (1881), в котором неспособность помещиков приноровиться к новым условиям после отмены крепостного права и внедрения капиталистических принципов изображается в юмористически-гротескных очерках. Ср. также принадлежащий к той же традиции роман А. И. Эртеля «Гарденины» (1889).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.